





НИК. НИКИТИН

# П О Л Е Т

ПОВЕСТЬ

ПЕТРОПОЛИС  
БЕРАНН 1984

Настоящая книга отпечатана для  
издательства „Петрополис“  
в типографии Felichenfeld A.-O.  
в Берлине в феврале 1924 года.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung vorbehalten  
Copyright by Petropolis Verlag A. G.

Снег похоронит покойников.  
Спите.  
Мы отпразднуем поминки  
Так.

Ник. Никитин.

I XII-92 г. Волков.



## 1. Я люблю Валентину.

Если бы я был человеком старого Запада, я сумел бы хорошо рассказать о снежном пастырском саде, об укутанных яблонях, о домике в снегу, о ветре, что играет вьюшками в трубе, об уютной комнате, где они собирались по вечерам, и добрый пастор, подсаживаясь к столетней фисгармонии, осторожно подбирал музыку к торжественным псалмам напевающей милой мамы.

Но я — русский. В стране моей — жесткий и ледяной снег и вечный суровый ветер. Ветер этот с Белого моря и с океана.

И даже тут — в степном узле, где сходятся пять трактов: — даже тут слышен запах льдов с Белого моря.

По трактам корки ледяни и рыжие воробьи.

Они зимуют в старых ветлах у дорожных канав, днем же летят на теплое кало, когда проходят обозы — чтобы согреться этим теплом.

Утром, когда выводят лошадей из конюшен нашего дивизиона, воробьиные стаи ждут, чтобы влететь в конюшни, где крепко пахнет лошадьё, овсом и навозом.

Всегда, думая о людях, я не могу обойтись без птиц, зверей, или ветра.

Быть может, потому это, что в раннем детстве своем жиял около зверей и птиц, у Зоологического сада. Имя городу — Петербург.

И вот сейчас вспоминая другое, степное сельбище, где в прежние времена квартировал пехотный батальон, я невольно начинаю с воробьев.

Воробей — вороватая рыжая птица.

Она похожа на русского.

И городок Л., расхлябанный, как трактир, похож на русского.

Нынче, когда пришла революция, в казармах батальона поставили дивизион, но воробьи на старых дорогах — прежние, рыжие.

Птица эта оседлая. Тронуться не может.

Такая же, как синемо «Алор».

У синемо висит афиша — «В когтях змен».

И луна над городом пугливая и сырая, будто это афиша.

Вот — город.

Не о теплых уютных вечерах надо рассказать, а о той стуже, когда шли по городу — инструктор командир батареи Климович, бывший поручик и другой инструктор — Фирсов, тоже бывший поручик.

Летел жесткий снег.

И прилипала к человеку тоска сильнее, чем сырая луна к сырому небу.

В этом небе, в этой луне — вся судьба.

Нам всегда повертывается она страшно, — потому что нет у нас хорошего неба, а на луне не раз видим мы зубы.

И как нельзя было оторвать луны от неба, так нельзя рассказать о Фирсове, без Климовича.



Биография их точна, как астрономические выкладки Кеплера.

— ... Когда мы играли детьми...

— ... Когда мы были в школе...

— ... Когда мы сидели на одной парте...

— ... Когда мы учились в университете...

— ... Когда мы служили в 5-й бригаде и оставляли Брест-Литовск немцам...

— ... Когда пришла революция... тут они молчат.

— ... Когда нас забрали в Красную Армию...

И дальше — уже о дивизионе, о тоске, о красных знаменах, о вечном ветре моей страны, о том — где нет уюта, а только ледяные бугры и снега, о сыром лунном вечере с жестким снегом, когда спотыкаясь о ледяшки возвращались домой Климович и Фирсов.

Тут сказал Климович.

— Я люблю Валентину.

Сказал это у порога, отряхивая от снега валенки. И не оглянувшись на Фирсова.

Было все очень просто, как валенки, как сам Климович, пухлый, маленький, заросший мохнатой бородой.

И также просто скипятили на железной печке чай.

— Сахару нет.

— Нет и нет...

Ответил Фирсов.

Хлеб пах селедкой, потому что нож пах селедкой.

В углу — уткнувшись к стене — два старые чемодана, с порванной кожей, как недовольные, затерзанные люди, зачем-то связанные вместе.

Фирсов, Климович — напившись чаю, с мерзлой свеклой, вместо сахара, легли на койки.

— Где Гумар?

— Гумар ушел...

Это — о вестовом и коноводе Гумаре, бывшем пароходном лакее, касимовском татарине.

Койки были узкие и короткие. Перед тем, как ложиться спать, Фирсов подставил к своей мягкий стул (когда ударяли по спинке, из стула вылетало пыльное пушечное облачко).

Спал он, вытянув ноги, сухие и желтые, что лошадиные кости, за железный переплет койки, на стул.

Над этим всегда смеялся Климович.

Сегодня он только посмотрел на Фирсова, а сказать, ничего не сказал.

Потушили лампочку, и стало совсем похоже на ночь, хотя по часам было только семь часов вечера; они лежали, молча.

И за окном, в трубе, не играл ветер.

Ветер наш неуютный. Он воет и трещит громче барабана на трактах за городом.

Печка остыла.

В комнате стало суше и строже, и особый запах от холода, точно в цирке.

Холод, ведь, имеет свой запах, как и тепло.

Фирсов поднялся с койки. Поддерживая на холоу кальсоны, подошел к столу — взять спички.

Закурив, спросил.

— Так ты говоришь, что любишь Валентину....

Но Климович не повернулся, не ответил.

Может быть — спал Климович.

Может быть — нет...

Сняв шинель с гвоздика, Фирсов укутался.

Трубка хорошо греет руки.

И когда затянешься, лицо ночью вспыхнет костром.

Курил, думал — о Валентине, о любви и о холоде.

И опять думал, когда уже потухла трубка, о войне — где многое неизвестно, и о жизни — тоже неизвестной, как полет птицы.

Ночью стукнулся в дверь Гумар.

— Товарищ начальник, я пришел.

Ответив —

— Хорошо...

Фирсов бросил под кровать трубку и решил уснуть.

Стыли ноги от железных прутьев койки.

Тоска сжимала ноги.

Было завидно, что Климович может свернуться на койке удобным комочком.

В городе выстрелили, и выстрел, что плеть, повис над городом.

Но никто в городе не проснулся.

Революция за три года приучила к выстрелам.

Утром выяснилось — что квартальному Фонарикову, во время дежурства, приснилась контр-революция...

И он, в просоньях, выстрелил из винтовки.

## 2. Началось.

Барак под церковь сколочен был во время войны, когда город, как полой водой, потонул в ратниках.

Стены барака из старого леса, с дырочками, вроде пяточков. Раньше запакловать, не додумались, а нынче некогда.

Теперь, когда уж давно нет церкви, и на амвоне устроена полотняная сцена, в бараке сквозит, что из трубы — и влет по ветру флаги.

И сверху — с расписанного деревянного потолка. удивленно глядят на зашарпанные и круглые, что нера-

зобранный горох, затылки дивизиона — глядит сам господин Саваоф, с пушистой мыльной бородой, — и около него порхают по сухой лазури, между золотых, как мебельные гвоздики, звезд — веселые крылья ангелов.

Когда соберутся люди, полный барак, и потянет густо махоркою, вспомнят о ладане, сипеем и легком.

На задней стенке коричневый — «Л. Троцкий», — в белой раме, с красною лентой — тут же буфетчик по квиткам отпускает красноармейцам чай.

По кружке на человека.

Ребята пьют со вкусом, обжигаясь, медленно.

Ветер играет с лопатами «Троцкого».

Ведь барак и казармы стоят с краю города, за екатерининским шлаг-баумом, у тракта — где привык жить ветер, потому что тут рядом степь. Степь — море — ширина и бескрайняя тоска.

Сегодня, в день дивизионной годовщины, — митинг.

И комиссар дивизиона Мелукалин, затянутый в старую офицерскую шинель, как трехдюймовка в парусиновый чехол. — говорит речь.

В бараке потно от сапог, от нечистых солдатских портянок. И этот пот рыжею сыростью стоит над балабашниками.

От этой сырости вянут у комиссара слова, так трава вянет под осенней водою.

Но глаза плотнее, грубее, проще американских консервных банок.

— Мы вспомним исторические переживания...

... Недовольство внутри того строя, который мы с вами переживали...

... Эту нить проделали рабочие и красная армия...  
Какую нить... Такую нить, то - есть борьбы...

... С гордостью восстановились...

... С гордостью бьемся в бою, переживая тяготы и лишения...

... С гордостью.

Летели слова шлепками, густыми и черными, будто подбрасывали лопатой землю.

И то, над чем мог смеяться Фирсов, именно то — самое нежное и грубое, что земля, это — то и понятно было серой шинельной лаве, которая как влилась в барак, так сразу принесла с собой и сырость, и пот, и дым, и землю.

— Товарищи, интернационал. Встать!

И Лепукалин, с лицом вытянутым и желтым, как у копченого сига, поспешно и услужливо соскочил с закругленного амбона.

Дивизион встал, долго харкая, шлепая, шевелил сапогами, суетясь беспокойней, чем рыба в сетях.

Когда грянули баладаечники, дивизион запел.

Пели красноармейцы протяжно, будто мерили версты и мерзли, а капельмейстер, сердито косясь в барак, где неторопливо, с кашлем и хрипом, пел дивизион, — должен был сдерживать своих музыкантов, и оттого инструменты сбились в раздробь, как зайцы по полю.

И оттого же капельмейстер выругался, плюнул, опять собрал своих и кончил интернационал первым. Дивизион же не спешил их догонять.

Когда доневали последний куплет, Фирсову стало скучно, он вышел.

Сегодня, наверное, от ветра, луна была желтая.

И снега по полю заливало желтым, лежали снега в полях, как соты.

А в небе тихо, что у хорошего хозяина.

На дворе, у казарм, Фирсов встретил комиссара.

Лепукални стоял, запустив руки в карманы.

— Что с вами?

Спросил Фирсов.

— Ничего... Устал. Пропу перевода из Москвы, не дают. Получил письмо из кавказской бригады, шесть самоубийств комсостава... Фролов пишет...

И отмахнувшись, как измученная на леске рыба, Лепукални отошел от Фирсова.

На крыльце барака сидел Гумар, отплевывая кожуру.

Гумар ел семечки.

И потому, что Гумар сидел спокойно, и спокойно плевал, и Гумара грела желтая луна, а рядом с Гумаром грелась — такая же желтая дивизионная собака Ара — стало не по себе.

Он окликнул вестового.

— Пойдем.

По дороге, от ветра, путалась сырая пыль, поземка.

Гумар щелкал.

Кое-где, в деревянных домах, ленивые огни, редкие, что овсяные зерна в пашне.

В городе не было керосину.

Гумар выворотил карман, разгрыз последнее семечко и вздохнул.

— Поручик Климович уехал. Барышня уехала и поручик. Дивизиона лошадь брал. Говорит сено брать еду. За городом барыню брал... там...

И Гумар засмеялся, утирая с губы прилипшую шелуху.

И оттого, что засмеялся вестовой, Фирсов крикнул со злостью.

— Гумар! Не смей...

Фирсов остановился и Гумар остановился.

Стоял на дороге. И на губе у Гумара — так и осталась прилипшая черная шелуха.

Гумар не понимал — чего кричит Фирсов.

— Ну...

— Ну...

Опять пошли по дороге. Скользили бугры, и под сапогом круто хрустел лед, как антоновские крепкие яблоки.

Фирсов.

— Ты, Гумар... тыщу раз тебе говорить. За четыре года от поручиков отвыкнуть не можешь. Нет поручиков... Чорт.

Коновод опять хлебнул как то носом.

— Мне ни надо. В Питер еду. Дядя Салим пишет — не надо военной служить, иди ресторан служить. Опять ресторан будить, салыфет будить, Гумар служить будить... Обед давать будить...

— Дурак...

— Зачем дурак? Сапоги чистые... рубаш чистый. Совсем не дурак. Водка будить...

В ветлах у канав еще шуршали воробьи — и от инея ветлы седели...

Мир этот старый: ветлы, луна и ледяная дорога.

И Гумар смеялся.

Тут спросил Фирсов.

— Какая барыня? Валентина Петровна?

— Ва - алентин... за город сажал... ра - ад...

Дома Гумар варил ужин, говорил о том, какие опять в городах рестораны, что пишет дядя Салим.

— Революция нет... Революция — что? Птичка. Красный флаг нет — Салим пишет... Вот. Бэда.

Фирсов лежал, кутая ноги в одеяло. Сегодня с пола сквозил холод, ветром надуло его в подвал, простыл пол.

Ведь сегодня день был ветреный. Ветры пошли еще с прошлой ночи.

И за окнами непроницаемая и скользкая, что клеенка, тьма.

И шелест ветра в канавах.

И знаешь, что по трактам он тарыхтит громче.

А тракты бегут в страну, где недавно горели и травы, и трубы, и стены. И ходил гордый веселый дым. И не думалось тогда ни в городах, ни в степи, что ветер с Белого моря — неизбежен, и с океана неизбежен.

Ведь страна наша голая, открыта морю и жесткому снегу, и потому на ней ломаются вечные ветры.

Ветры эти поднимают бураны и тушат костры.

И ветер в стране хозяин.

Кутит в логах.

— Слушайте...

Кричит ветер в прохожей стране.

Странно думать, что где то есть водопроводы, и идут токи от станций, чтобы накаливать холодные угольные дуги до света, и в театрах машины подбирают железные занавесы, чтобы показать со сцены актеров.

Места эти — пятна.

Что о них говорить, когда огромное тело — снег, стена и ветер.

И не уйдешь от снега, от вечного ветра уйдешь. Надолго — ли...

Разве можно унять зубную боль земляничным наговорным корешком?

А им лечатся в стенах.

Гумар долго смотрит на бритое, крепкое и гладкое, как обглоданный конный мосол, лицо инструктора Фирсова.

- Спишь? Иди ужинать.



Фирсов хлебал суп из вяленой рыбы и картошки, лениво ломая хлеб.

Тут - же, одним левым глазом захватил краешек столичной газеты и между крошками (в газету завернут был хлеб) прочел.

— В д. № 9, по Социалистической ул., повесилась, оставив записку о разочаровании в жизни, гр. Берзина, 54 лет.

Улыбнулся Фирсов.

— Анекдоты... Началось...

И, стянув сапоги, улегся скорее спать.

— Не забудь Гумар, сапоги высушить.

— Буду сушить, буду...

Сказал Гумар.

И посмотрев еще раз на лицо Фирсова — крепкое, гладкое, обглоданное — до чиста — точно конный мосол в овраге сглоданный волками — подумал об этом плохо.

— И - ех.

### 3. Н о ч ь ю.

Зимние ночи, стелные — нежные. В снегу очень тихо, когда метелица встанет, и ветер уляжется по оврагу, по невинному логу... хорошо!

И по накатам орут бешено сани, и хрюкает от скачки лошадиное горло... — хорошо.

Меркнут лога, деревни по низому пару, по синей степи и небу, забрызганному крапинами.

Рядом, чуть ли в голову, цепляются столбы, проволоки — намерзшие бахромой, бородами, зимою — и летит все быстро, хрюкая, как это горло. Хорошо!

У лошади тогда, если попробовать, потная грудь и глаза влажнее и мягче вина.

Морда вперед — пружиной.

И люди — как этот ветер, что выбивает подковой конь вместе со снеговыми шлепками.

Люди и ветер — холодный, пушистый, белый.

Это — хорошо.

На облучке, в полушубке, Артюшка — дивизионный конюх.

Полушубок рыжий, даже ночью. И корелый, деревянный — крепче скорлупы у каленого ореха.

И парень Артюшка — целый, крутой. С плечами, убежавшими на отмашь, что разводы у дровней.

Артюшка гикает — так зимой ухают елки, целуясь с морозом.

— Та - их, се - во - лачь ... Тю - уу ...

И от рыжей овчины встает пар. Хорошо!

Теплая Артюшкина спина в инее. Сел на нее мороз. И от спины тает.

И на мороз идет с овчины горький, как у черемухи, дух недубленой кожи.

Хорошо!

Когда черемухи цветут по морозу — женщины любят поцелуи — такие же горькие, как весенний цвет дерева.

Вот почему снега дразнят, и кожа пахнет, и лошадь, как женщина, в мыле и страсти — мчит, морду вперед, пружиной.

И в перелесках еще дразнят, еще отцокивают железные конские подковы и по вымерзшему в железо снегу — ухабам.

Это — ... чоки - чок ... чоки - чок ... чоки - чок ... как японская песня о поцелуе — так доносит, играет эхо в синих, затянутых снежным пухом перелесках.

Песня эта железная — поется железными конскими копытами.

И если есть в санках женщина, она глотает ветер будто вино. И пьяная этим вином забывает, что бывают спокойные комнаты, а в комнате домашняя печка и от кафели печки веет теплом, семьей, может быть, тут же греется ее мать.

Все меркнет и только впереди перед женщиной блестят серебряные в морозе лошадиные губы, мохнатые, точно у лешего.

И здесь никто не скажет — так или не так... Вдруг так и есть, сам леший мчит возок по укату, за лога — к небесным краешкам в степном конце.

Краешки плотны, темны, сладки, может быть, сахарная лиловая бумага.

В санях, на сенишке, под пестрым ковром, почти лежа, несутся Климович, бывший поручик, и Валентина Петровна.

Ночью в санях, когда уши сами слушают конский бег и чокоты копыт, тогда у соседки, запрятавшей голову в снежный и пухлый, как сугроб, капор, видны одни только губы.

Эти губы гуще тогда, чем кровь.

И солонее соли.

И целовать их нужно также больно и слышно, как эхо в перелесках — поющее то, что выбивается по вымерзшему снегу конской дробью.

И Артюшка, стегая кнутом по серебряным в инее лошадиным губам, кричит — будто бритва его полоснула.

— Ие - хай, све - олачь!

Артюшка знает езду, кнут у него — что жила в руке.

Когда дорожные костяные укаты пихнут вверх санки, и седоки, привскочив, летят к небу — прижмутся,

чтобы не стукнуться об это низкое и плотное небо — тогда...

... кричит тогда Валентина Петровна, тоже что и Артюшка, но глуше, сквозь тяжелые меха шубки.

— ... Душно... мне душно.

И губы у нея дрожат — как капли.

А санки снова споткнутся об ухаб.

И опять смех Валентины Петровны из шубки булькает, что из бутылки.

— Ну целуйте. Смешной вы, Климович...

Тогда у женщины губы — капли крови, удивительные и странные.

А у лошади — в серебро.

Этим часом окрашены очень лиловую сугробы, ночные, нежные, мягче человеческого тела.

И Климович целует.

Качает ухабами.

Ловят.

По этой старой русской дороге, разрывая поземку, пыль, ветер, — всегда мчали русские баре любовниц, на своих или на цыганских тройках.

И колокольчику, и песне, и поцелую — сколько прошлым было отдано часов.

Сейчас. — в Кривой Кочеток, куда мчит лошадь, одна лошадь уже, а не тройка, едут Валентина Петровна и Климович.

От Кривого Кочетка, от старых портретов, боскетных, очень давно — о чем не знаю и я — ничего не осталось, кроме названия и моли.

И я не хочу знать, что Кривой Кочеток, когда пришла революция, называли иначе.

— И тогда ведь в нем была лишь моль.

Кривой Кочеток, как ни назови, останется всегда Кочетком, так же, как останутся на террасе дома четыре колонны, залосканные — будто о них терлись сальные борова.

Я не копню прошлого — что ныне в моде, и не скажу о новом — мне надо только людей и обыкновеннейшую человеческую любовь.

Быть может это — еще несыгранный, неконченный ровер от дедушки в дворянском военном сюртуке.

Пусть.

#### 4. Совхоз „Кривой Кочеток“.

В комнатах дома — где совхоз, тепло.

На крыльце, черном, пристроенном к корридору, соединяющему барский дом с кухней, греются куры, потому что из под щелей набухшей отставшей двери лезут остренькие зубки — полоски света и кухонное тепло.

Когда проходит зеведующий совхозом агроном Петровский — куры вскакивают и хлопчут, вроде баб.

И Петровский ругается.

— Мотька. Проды, пайку мало вам, а за курой смотреть много...

Сегодня — в день его именин, почные пьяные гости.

Поэтому особенно утарно.

И еще новые гости из города — Валентина Петровна и Климович.

Все сидят в голой комнате — наверное, бывшей лакейской, во втором этаже, где окошки квадратные.

Если из этих комнаток второго этажа пройти по темным корридорам, то выйдешь на хоры большого двухсветного зала.

Нынче там пахнет старыми елочками, гирляндами.

Летом устраивали в зале спектакли — все украшения остались. Хвоя лишь порыжела, осыпалась и хрустит сейчас под ногой, что летом в лесу.

А из больших мерзлых окон входит голубой нежный свет в залу.

Пахнет еще землей и картошкой, насыпанной кучами по полу зала.

А в картошке пищат крысы.

Иной раз они ходят стаями — толстые и жирные.

В первом этаже никто, кроме крыс, не живет.

А во втором, в угловой — Петровский.

Из мебели в ней: кровать, ведро с водой, стулья и березовый большой стол.

Еще комод. На комодке конторские книги.

В ящиках овощи.

А по углам опять мешки с картошкой.

От картошки воздух сырой и пыльный.

И сам Петровский — розов, скучен и рыхл, как картофель.

Он слушает Валентину Петровну очень внимательно.

Только иной раз встряхнет плечом, что лошадь от мухи.

— Разве это жизнь? ... Вот мы сидим и ничего не понимаем. И не будем понимать, потому что все может быть кончено.

Гости смеются.

Валентина Петровна обижается, кутается в косынку, а Климович осторожно. —

— Ну, ну, ну. . .

— Я была ... Да. Это было в Петербурге, когда большевики брали Зимний. А мы кутили на Миллионной, в кавалерийских казармах. Часа в 3 ночи кажется, прибегает к нам юнкер из Зимнего Дворца, говорит

надо подкрепления. А полковник совсем уж пьяненький и офицеры совсем пьяненькие. И я пьяненькая. А когда я пьяненькая, я очень счастливенькая. И такое все сизое, сизое, будто дым. А юнкер очень хорошенький, будто еврейчик. Ну, говорит, значит конечно, большевики возьмут. Полковник тут махнул рукой — что-ж говорит я могу...

Гости молчали.

— Утром, действительно, приходят большевики. И нас просто вынесли мертвенькими на грузовик... Я так ничего и не поняла, а когда нас выпустили, все говорят, пошла революция... А здесь мне жить скучно, Климович, помогите мне...

Она обнимает Климовича за шею, гости смеются, в окнах туман и угар, и Валентина Петровна тоже смеется.

— Только мне этого мало, Климович... Теперь уж я вкус потеряла, не понимаю чего хочу. Дай мне индейку, скажу — господи, как не вкусно.

Она встала, обтягивая косынку на груди, и жеманная косынка была точно желтая пухлая пена.

Петровский, и Климович, и пьяные хлебным вином гости, смотрели на Валентину Петровну, купавшую грудь в пене.

Она увидела это, повернулась как-то боком, и вытянула руку с рюмкой.

Ногой топнула.

— Налейте... Мне России не надо, когда я пьяненькая, я счастливенькая...

Заведующий совхозом Петровский, качаясь на ходу, потянулся с бутылкой.

Льет медленно, будто сам пьянея, оттого может быть,

— что пахнет вином, и рядом — маленькая женщина с матовыми, как запотевшее зеркало глазами.

— Нам... —

Говорит он

... Валентина Петровна, ничего не надо. Нам картошку надо, вот.

Гости опять смеются.

И когда приходят бурые деревенские рассветы, добрые, густые, точно дойные коровы, — гости уже спят, приткнувшись к мешкам в углу.

Климович глядит на Валентину Петровну, калачиком усевшуюся на стуле.

Петровский подперся кулаками.

Он плачет тяжело — может быть так плачут звери.

— Ты мне скажи... вот из Москвы в Берлин на аэроплане ездят из кабака в кабак. Пишут все по новому, огромнейшие обороты. Ну, а к чему мне это, вот что ты мне скажи...

Климович подхватывает на руки Валентину Петровну.

И несет по комнате, по корридору, на пыльные хоры двухсветного зала, где кучами солома и конские войлочные потники.

Он останавливается у барьера и говорит ей.

— Вот я тебя туда сброшу... в картошку, вниз...

— Брось...

Она смеется, чуть-чуть двинув губами.

— ... Я маленькая, мне можно. Когда я была совсем, совсем маленькая, два года, я была такая маленькая — с лампу. Все дразнили меня копеечкой.

— Копеечка!... Валечка.

Он приподнимает пошу к лицу.

— Валечка, ну... Валентина.



От нее идет нежное тепло и аромат — как из рюмки.  
Климович пьянеет, опускается вдруг с ношей на пол.

И долго долго целует ей руки, груди, шею.

А Валентина Петровна, лежа на полу, на потниках  
рвет с себя юбку.

И голоса ее почти не слышно.

— Миленкий... скорее... ну скорее.

Мутно и тяжело подымается с колен Климович.

— ... Фединька, что же ты... Фединька.

— Потом, Валя, не сейчас.

И Валентина Петровна шепчет с полу.

— Во вторник, вечером... придешь?

Немытые окна от бурых рассветов буры.

От картошки прель. Крысы по утрам спят — в зале  
тихо.

Под самым верхом, у потолка, где затейливые коль-  
чатые, как папиросный дым, фризы — висит портрет  
мордастого и довольного Румянцева-Задунайского.

(Его не сумели снять).

На окнах тает иней — значит теплое, душное утро.

Дороги будут рыжие — снег от тепла ведь желтее.

А днем, если подует ветер — встанет над полями  
туман.

Люди — в такое утро — просыпаются в тоске.

## 5. Плисовый рай.

— Я просила вас, Петр Николаевич...

— Да...

Он — Фирсов медленно кивал головой. Рядом, в кро-  
вати — в розовеньком с полосками капотике, с очень  
открытой грудью, прищуривая то правый, то левый  
глаз — лежала Валентина Петровна.

На столике, как вода, тикали каплями, часы. И умывальник, белея в углу мрамором, тоже как часы, ропял каплями воду.

Плисовые розовые креслица и плисовые канапе держали в этой комнате лукавое, спальное тепло.

Креслица розовые — без накидочек, без салфеточек, т. е. не как принято в уездных комнатах — и потому они кажутся голенькими, теплыми.

— ... Вы простите, что я так, но мне нездоровится, а надо сказать

— ... да ...

— ... что ... вы понимаете ...

— ... да ...

— ... он сердится ... почему он вчера не пришел ... я ему сказала тогда ... мы ездили, он не рассказывал ... что было, когда мы ездили?

— ... что ? ...

— что он не рассказывал? Он может боятся вас?

— Он любит вас.

— Любит ...

Она очень тихо, редкими, как минуты, смешками ответила.

— ... я простудилась, наверно, дорогой тогда. Написала записку, чтобы он приходил ... Почему он не приходит? Глупый ... Может вернется жених, он пишет, что ему дадут отпуск с Кавказа. Он у меня бешеный, веселенький ... вот ...

Она сдернула со столика спального фотографическую рамку.

— ... вот ... еще до революции ...

Фирсов смотрел — на карточке капитан с острым лицом.

— Похож на нашего комиссара.

— Пишет, что ему очень тяжело и что опасно...

— Всем нам тяжело, Валентина Петровна. Обалдеть можно, сколько лет трубим, и когда только конец. Я шесть лет не видал матери, сестра умерла без меня, брат... Живешь, один чемодан да мусор. Обалдеть... Никого нет, ничего нет...

— ... это верно, что Климович любит...

— ... что вы говорите? Да — любит. Скучно ведь, удушишься. Он молчит, только мне видно. Эти походы, грязные зашлепанные сапоги, когда мы их скинем...

Фирсов высморкался.

Приподнявшись с кровати, Валентина Петровна нагнулась к Фирсову. И ему было видно, как отстал от тела халатик, и как упали темные, в тени халатика, груди, что грушки.

— Милый, дайте я вас поцелую... вместо мамы. Ну дайте.

Было очень тепло и очень долго, и по райски.

И хитро смотрели на двух — голые розовые креслица и капитан с фотографии — строгим сиговым взглядом...

Затем восхитенный Фирсов встал, перебрав пальцами в сапогах, потому что затекли ноги и отошел к окну, чтобы закурить.

Спички гасли.

Замерзшие совсем окна от сумерек сини.

Закурил.

Потом подошел к умывальнику — умылся.

Застегнулся.

— Да... А ты Климовича не любишь?...

Валентина Петровна в кровати стала на колени.

— Милый, я же маленькая. Разве я знаю? Поди сюда, тупик мой. Дай мне футельки . . .

Любила она ласковые в словах замены.

Футельки — это туфельки.

Лобака — это собака.

Ловечик — человечик.

Любчик — любимый.

Агушки — приласкай.

Фирсов из под кровати вынул туфельки.

И когда одевал, — заметил, что на левой ноге пальцы у Валентины Петровны тоже холодные.

— У тебя большое сердце.

— У меня . . . у меня не сердце, а такочка . . . тик-так, тик - так . . .

Опять поцеловала.

— Больше не надо, не надо, не надо . . .

У нее дрожали руки, как трава под ветром.

— Не надо . . . не надо. Приходи вместе с Климовичем. Ну уходи, уходи. Какой ты большой . . . Пе-е-отр Пи-ко-ла-евич . . .

И весь плюсовый рай — креслица, халатик, туфельки смеялись над Петром Николаевичем.

За окнами надал снег густой сметаной — тяжелый и липкий.

Кутал налесады, дома, город — в теплое.

Пел, наверное, кутая — потому что город рано укладывался спать.

И, если бы совсем укутало его по крыши, никто в стране моей, холодной и снежной, где с октября студит вечный ветер, никто не заметил бы — что исчез город.

Разве только случайный проезжий, с новым московским декретом, увидя вместо города старые высокие

шлагбаумы, вставши у трактов пестрыми палками с пяти городских концов — подумал бы.

— Сожгло... нету.

Подумал бы о веселом дыме, о комиссарских тройках, когда даже люди горели и мчались, уходили — зажигали, чтобы горела земля.

Фирсов, разыскивая улицу в сугробах, вспоминал о Москве.

Казалось она ему гремучим, электрическим цирком, где все шумит, вертится и звенит.

Дома Климович уже спал.

И Фирсов долго глядел в железную печку, около которой возился Гумар.

Уголья горели и потухали, горели и потухали.

И было это похоже на горящую землю.

И когда шипела горящая щепка, выпустив слюну, — Гумар лез головой в печку — раздувая.

Пламя обливало красным голову Гумара.

Фирсов же думал о родине, о столице, о судьбе русских тихих полей.

— Гумар...

спросил Фирсов —

— ... что пишет дядя Салим?

— Дядя Салим...

Гумар на корточках — бритая и вкусная, как репа, голова. Весело глотать тепло от печки.

— ... Хороши дела Салим. Народ чистай, денег много. Рубах чистай. Вино торгуют. Дамочки торгуют...

Кивнул Гумар и опять полез на печку.

И почему то тихонько засмеялся, оглядывая тихие уголья.

А Фирсов смеяться не умел, может быть и не мог.

## 6. Квартальный Фонариков.

В грязях, когда плещется осень, мбѣ, мбѣ дождями, из улицы устроив портомойню — по городку проходит квартальный Фонариков.

Пыльным летом, когда овцы ищут забора, — под тень, чтобы не жгло и не мешало солнце, а люди сидят за ставнями и даже в погребе, и пьют там либо ледяной квас, либо крутой кипяток с брусникой — по городку проходит — квартальный Фонариков.

Веснами, когда за домами, в талых огородах бешено закаркают галки, а по вечерам, у церковной ограды, под рыжею липою, блеснет блое женское плечо и зашумят в листве поцелун, что воробын на дорогах — по городку проходит — квартальный Фонариков.

А сегодня ночь — зимняя ведьма, голодная и злая — ветром сушит она мохнатые сырые волосы, но ветер рвет, и волосы лезут у старухи, и летит седой липкий волос по улицам, по всем пяти трактам — по квартальный Фонариков проходит по городку.

Гнилые, углом вставшие к дороге, фонарные столбы без фонарей, одно яркое окно в городе — где снимо «Алор» и желтая афиша снимо:

Драма в пяти частях  
с уч. Веры Спарской  
«В когтях змен».

Анонс. Маска Мертвеца  
Нервным ходить не предлагается.

А над улицами как афиша, приклеенная к небу луна, испарапанная какими то знаками. И сквозь тьму,

сквозь пургу в городке, кто нибудь может также прочтет, что:

*нервным ходить не предлагается,*

может быть Фирсов сумел бы прочитать это, но Фирсов спит, а квартальный Фонариков проходит по городку.

Он идет мимо Уезкома, Отпароба, Ара — и прочих правящих мест. За плечами винтовка в снегу, в тяжелых вятских валенках, и с красной звездой на левом боку у сердца — на полушубке, с красной звездой; заточенной в овал скрестившихся веток.

У него нет лица, потому что не надо ему лица, он везде один, на всех пяти трактах, сжавшихся здесь узлом.

Идут: вятские валенки, винтовка и звезда. А все вместе — квартальный Фонариков.

Идет, заглядывая в каждый дом, зная в каждом доме — какие где перины и хорошо ли поет канарейка, весело ли живет с женой дьякон, куда возил даму военспец Климович и — для каких целей и кто из девушек бежит к акушерке Зайченко.

Это ему дудят телеграммы по обвисшим, обросшим снежными бородами проводам.

Очень не долго в этом городе жил писатель — писателю приходили редкие телеграммы. Это было исключением — и квартальный Фонариков их не считает.

Обойдя городок, он заходит в участок, сидит там долго у лампы и слушает.

Зная, что в сущности слушать нечего, что город за-  
снул под иконами у синеньких и красненьких лампад, под снегами, растущими крышами, он все-таки слушает

— для порядка, по привычке... Ведь привык всегда быть на стороже квартальный Фонариков.

В городе говорят только днем, у лавок, по праздникам в церкви. Дома же говорить людям нечего, отвыкли.

И когда говорят промежь себя, то так: —

— Нет, без кабака как можно; птице — той говеть можно, а народ скучает.

— У нас, поди, тоже заведут.

— Заведут, будьте благонадежны. В Москве, пишут, вертящееся колесо завели: придешь, машинка калошки сымет, к столыку на машинке, тут рюмочки механические, ром, может, или что крепкое, ополоснут и опять, тут к тебе под'едет закусочка... На эту механику, говорят, большие миллионы потрачены.

— Ну у их денег много.

— Конечно, у их бумага непокуыванная...

Так идут печальные ночи, в эти ночи девушки любят, чтобы потом поутру бежать за средством к акушерке Зайченко.

Только один портной Бурштейн ночью долго сидит с газетой.

У портного есть комод, а на комод рядом с зеркалом — по одну сторону самовар медный, но покрыт никкелем, по другую гипсовый Карл Маркс, величиной в три вершка, покрыт позолотой.

Ночью еще не снят за городом на огородах бабки Лепатихи в кряжистом домике с глухим двором, где, когда-то, была голубиная молельня, и где до сих пор под крыльцами у избы, выструган голубь. Там живут четыре здоровые, веселые девки. Летом они копали на огородах Лепатихи, а зимою остались у бабки



на готовых кормах, и по зимам бабка Лепатиха торгует девками — за раз и на ночь, как угодно...

Квартальный Фонариков, а с ним и весь городок, зовет суровую бабку публичным домом.

Провода, снега и приклеенная луна — вот город.

И зачем-то, напрасно, рвется сюда ветер с моря, пролетавший, может быть, через Москву.

Он взметает только снега.

Под снегом спится еще лучше.

Лишь квартальный Фонариков в участке сторожит.

Но он не усторожил.

В эту ночь, в тот час — когда особенно метал и рвался ветер, в городе застрелился приезжий из Петербурга, сотрудник геологической экспедиции А. В. Доброхотов.

Выстрел, как плеть, просвистел.

Но никто в городе не проснулся.

Революция за три года приучила к выстрелам.

А на город глядела сырая и пугливая луна.

## 7. А. В. Доброхотов.

В гостиннице «Советское Общежитие» — бывшие номера над трактиром купца Тряпкина, утонувшего прошлым годом, спьяна, в бочке с кумышкой (самодельная водка) — следствие.

На худенькой железной кровати, привалившись спиной к жирной стенке, испачканной клопами, как-то упершись двумя руками вправо — в подушку, лежал А. В. Доброхотов, с полузашедшими глазами, так, что были видны одни только белки.

Рядом — в складках шерстяного солдатского одеяла валялся револьвер.

На черном столнике у окна, еще засоренном личной скорлупой и солью в газетной бумажке, милиция составляла акт.

Вероятно — Доброхотов застрелился, поужинав.

Жильцы, узнав о случае, суетились у двери в коридоре, и каждый из них, помимо любопытства, чувствовал себя пеловко — ну вот точно так, если бы, придя в трескучий мороз домой, вдруг попросить холодной со льда простокваши.

В комнату не пускали.

А около велись разговоры.

Тут же, у двери, рассуждала баба - уборщица.

— Вчера еще приехавши очень был смутный...

— Проворовался что ли...

— Нам неизвестно.

Внизу у гостиницы, перед ледяным, намерзшим за ночь от ветра крыльцом стояли жители городка. И когда повезли труп, и квартальный Фонариков погрузил рядом с ним, в телегу, вещи покойного — плетеную японскую корзину и черную кавалерийскую сумку, — баба, глядя вслед тронувшейся тележке, заметила, что у покойника ноги толкутся, будто у живого.

Присев, она сказала, здесь же в толпе.

— Батюшки, мил-лае... да ведь я чуяла. Во снях севодня у мене бывалоче, зандобились будто Аксенны дрова, пошла будто я за дровами - т во двор, только одно полено хвачу — аи на меня как целая - то поленница падн. Господи, да ведь это - то он грешный знать трахнул о - полуночь...

Проезжий мужик на низких дровнях, ткнув кнутом лошадь, загреб ногами снег с дороги.

— Болтай, заберут — там те научат сны помнить.

И поехал. А на улице еще долго стоял народ, пока

не вернулся в гостиницу квартальный Фонариков и не спросил.

— Ну, наследства какого еще нашли?

— Ничего. Окромя вот...

Ему показали небольшую газетную пачку с бумажной требухой.

Переслюнив в пачке какую-то книгу, записки, Фонариков отдал пачку бабе-уборщице.

— Ну, пушай, на растопку годится...

И, помолчав, мрачно прибавил.

— ... а нету ли ценностей каких?

Ценностей нету.

Подумав — врет баба иль не врет, — Фонариков отбор варешкой с усов иней — желтый, точно пот, и вышел.

— Ишь, хлопот то вам ... кыш. Расходись.

Жители хлопотливо, что куры — пошли по улицам.

У каждого крыльца, расходясь, шептались.

Похлопывая от холода рукавицами, с согнутыми у валенок ногами, первыми убрели мужики.

И на перекрестке, у площади, один старик убеждая другого, бацал в снег палкой, и седая умная борода его тряслась по шубе, что лыко.

— Черти, ведь это жа зараза ... Понял.

И страшно забеспокоились в городе девушки.

И собирали деньги, чтобы купить венок для А. В. Доброхотова.

От разговоров о судьбе Доброхотова, каждая думала — пожалуй неудачная любовь...

И ведь у каждой от любви сжимается сердце мягко, как губка в руке.

И каждой было жутко и сладко, потому что будто чувствовала каждая у себя в руке это сердце.

И как оно бьется, если зажать его пальцами.

Об этом спросите девушек . . .

И каждая знала, что она распоряжается здесь любовью.

Разгорались глаза у них ярче клюквы на осенних болотах.

А матери заботливо глядели за дочками, перебиравшимися через улочки — подруга к подруге.

И маменьки хмурились, как оконные теплые занавески, когда подбирает их маменька у окошка и следит тихонько за дочкой сквозь мутное, в инее, стекло.

Фирсов тоже шел домой, поддерживая под мышкой пакет.

Он купил его у бабы.

Он чувствовал, идя по улице, что городок спрыснули — будто сонную кошку водой.

Но он знал: что также скоро все утихнет и успокоится, зализывая лапы, как эта старая сонливая кошка.

Дома, по обыкновению, возился Гумар у железной печки, а Климович лежал на койке.

— Слышал?

Спросил Фирсов.

— Да . . . Я был у Валентины. Она говорит — любовь . . .

— Не знаю.

— Никто не знает. У Валентины истерика, она просит тебя зайти.

Фирсов ничего не ответил, тоже лег на койку.

Гумар, на корточках, раздувал щепки.

И когда разгорались, скалил белые каменные зубы.

— И - ех . . .

Это выговаривал он очень мягко.

— И - ех... по - лохо, по - лохо... завсым по - лохо.  
Климович перевернулся на другой бок.

Уж накалились уголья, белели — типе остывших в небе звезд, а Гумар что язычник. перед своим богом.

— Завсым плохо... и - ех...

Климович вскочил с койки.

— Гумар, перестань бормотать. Не бормочи, слышишь...

И Гумар вскочил с корточек, подбрасывая руки, точно лопатки.

Голова у него нагрелась и краснела, как медная.

— Бармачи, бармачи, не слышишь... Мой бачка в Крыму жил, друг — джигит был Мемед, джигит резал на дороге, богатых резал... ловили, взяли Мемед... В тюрьме сидит Мемед... Месяц и звезды, месяц и звезды, скучно... Мемед кинжал чик - вик...

Гумар чиркнул себя по горлу пальцем.

— ... бачка плачет, ай плохо... Джигит кончал. Зачем кончал. У джигита руки ноги есть. Что можно сделать. Все можно. Собака не кончает, конь не кончает, а джигит кончал... И - ех, плохо, какой человек...

Вечером, после чая, Фирсов развернул пачку и сказал Климовичу.

— Федя, давай посмотрим.

Климович как то осторожно взялся за бороду, будто боялся, что она разобьется.

— А к Валентине ты разве не пойдешь?

— Нет. У нее, наверное, прошло.

— Может быть — прошло.

И они сели за стол, — поставив ближе лампу.

И лицо Фирсова, гладкое — словно коний мосол. было серьезно, как всегда.

## 8. Документы А. В. Доброхотова.

Фирсов брал бумажки из пачки как - попало, — в этом же порядке они приводятся здесь.

1. Продовольственная карточка Петрокоммуну — 1918 г. на хлеб, сахар, соль, мясо и пустые купоны. Отрезаны главным образом хлебные купоны. Остальные — не все.
2. Удостоверение Штаба Петрогр. Военного Округа от 6/VII - 1917 г. за № 1317/10151 в том, что прапорщик А. В. Доброхотов командирован для постоянных поездок в Финляндию, ввиду чего просят железнодорожное Управление выдать прапор. А. В. Доброхотову... (далее неинтересно).
3. Табачные карточки Петрокоммуну — 1918 г. за несколько месяцев. Использованы купоны преимущественно за первые месяцы. Потом неиспользовано.
4. Студенческий матрикул. Петербургский Университет, Юридический факультет, год поступления 1912. И фотографическая при матрикуле карточка.
5. Опять табачные карточки почти за весь 1919 г. Большинство купонов неиспользовано.
6. Свидетельство фирмы Тильманс и Ко. служащему Анатолию Владимировичу Доброхотову за 1914 г. — выдано о службе.
7. Несколько польских писем из Киева за период 1918 и начала 1919 года. Пишет женщина. Вспоминает курсы и о каких - то ласках.
8. Копия заявления в польскую миссию об оптации. Уроженец гор. Варшавы, год рождения 1893-й. Номера и даты на копии нет.

9. Опять продовольственные карточки — эти за 1919 г. И использован только хлеб.  
Купоны на сахар, соль, жиры и мясо — не отрезаны.
10. Удостоверение Отдела Управления Петросовета № 624207, 4/IV - 20 г.  
Предъявитель сего  
гражданину

Командировка.

Доброхотову А. В.  
*Управляющему делами Металлургической  
Секции Г. О. Н. З.*

**Москва**

и выезд обратно, сроком с  
сего числа на 7 (семь)  
дней.

11. Снова табачные карточки — 1920 г. купоны совсем  
не использованы.
12. Отсрочка по призыву в Красн. Армию — красного  
цвета. Отсрочка по призыву в Красн. Армию —  
желтого цвета. Отсрочка по призыву в Красн.  
Армию — зеленого цвета.
13. Записная книжка — полна служебными адресами и  
телефонами советских учреждений.

Записи такого рода:

В 12 ч. позвонить в Профсоюз.

В 1 ч. позвонить Учусо — т. Каргельсу.

В 1¼ ч. позвонить т. Лимантову о докладе завода  
и о количестве топлива.

В 8 ч. заседание о приостановке заводов.

- В 4½ ч. собрание служащих: порядок дня: — закупочн. комиссия о культ-работе, текущ. дела.
14. Опять табачные карточки — но чужие, на имя Веры Флякис. Купоны почти не использованы.
15. Записная книжка летчика, подпоруч. Г. В. Доброхотова, 1916 г. (повидимому брата).
- Пробные полеты — 6, под руковод. капит. Тиманова. Подписи военного начальства о сдаче экзамена. Фарман 14.

№ пол.	Месяц и число	Тип аппарата	Продолжительность полета	Число посадок	Дальние полеты	Высота полета	Замечание руководителя
1	Март 28	Ф. 20	35 м.	1	30 кил.	700-200	Перелет с аэродрома Сервеч в Узды. Облочно на 200 м. Пришлось лететь над лесом, едва урывками, видя дорогу. Благополучно.
5	Апрель 1	В. 470	1.50 м.	1	—	2.600	Разведка, сильный обстрел до 500 снарядов.
11	10	В. 259	—	1	Срядов Жегуленков.	2400-100	Фотографировал Мокрицы - Августого. Стал мотор.
18	19	В. 470	1.5 м.	1	Разведка бомбы	—	В Проньки, аппарат получил 4 пробными от шрапи. огня около 200 снарядов.
34	Июнь 2	В. 470	2 ч. 5 м.	1	Бомбардирование дер. Проньки и леса у нее. Сброшено 15 бомб весом 6 п. 5 ф. Сбит фоккарот. Сел за своими окопами у востанка Изорды. Пробиты оба крыла, рули, gondola, бак бензинов, газопроводы, радиатор, карбюратор, колеса, ось задняя. Самолет, после спуска, обстрелян артиллерией, но без вреда. Ранен в ноги.		
37	20	В. 674	2ч. 20м.	1	Корректирование. Вследствие облачности, ходили низко.		
66	Июль 17	В. 348	2 ч.	1	Разведка, по приказанию штаба XV корпуса. При под'еме, тучи и ветер, 7 метров. Ходили в тучах по компасу на Н-1200 м. Вынырнули у немцев. Но аппарат почти стоял на месте. Вернулись в дождь и шквал. Ветер около 18 до 20 мет. сек. Аппарат сел без пробега. Обстрелян слабо. Поздравлял командир корпуса.		



№ пол.	Месяц и число	Тип аппарата	Продолжительность полета	Число посадок	Замечание руководителя
79	Август	В. 228	1 ч. 10	1	Ночной ялет на ст. Барановичи с седоком поруч. Никольским. Сброшено 3 п. 5 ф. тротила, 5 бомб по 25 ф. Обстрел.
82	15	В. 470	20 м.	1	Перелет в шт. корпуса; и пред ясные очн.
88	17	В. 957	1ч. 20 м.	Рав- водка ночная	Сбросил 10 зажигательных бомб. Врыв в дер. Лапатичи неприят. артил. складов Представлен к производству и Анне 3 ст. с мечбант. Обстрел ошесточенный, очередями аснити батарей. Н-1800 метров. Жив. Оторваны передние колеса. Пробиты водо-масло, габо-проводы и сломаны оба руля. Сам жив

Всего в книжке записано 73 полета, период 1919 — половина 1917 года. Тут же, в книжке, вырезка из Петербургской газеты «Правда» (1919 год).

«Вчера, в 3 часа дня, при ясной погоде, от неисправности в моторе, погиб в районе Николаевск. Вокзала летчик Красного Воздушного Флота т. Г. Доброхотов. Покойный товарищ имел орден Красного знамени за воздушные разведки при наступлении банд Юденича. Аэроплан упал на крышу одного из домов, прилегающих к Гончарной улице, летчик выпал на двор этого дома».

#### 16. Листок из блок-нота.

П. К. Р. К. П.

Коллектив Г. О. П. З.

Тов. Доброхотов, приходите сегодня побаловать-ся чайком. Будет монпасье. — Вера Ф.

На обороте этой записки написано, вероятно Анатол. Владим. Доброхотовым (карандаш химический)

— (аборт)

(сошла с ума)

17. письмо.

Тоша, милый, сегодня мы похоронили нашего мальчика. За два дня до смерти он все спрашивал, когда же придет папка . . . а потом стал затихать. В день смерти, когда ему впрыснули камфару, стало легче и он попросил бумаги и карандаш и чиркал, чиркал, говоря, что он папа, но к вечеру ему сделалось хуже, совсем свело горлышко, он только смотрел на меня, ему опять впрыснули камфару. Я поклялась милой детке, что не дам ему умереть, что уйду вместе с ним. Но все средства были напрасны. И когда я стала плакать, он только одно сумел мне сказать, что же нет папки, не плачь.

Тошник, как же мы не уберегли нашего Аденьку, драгоценного нашего мальчика. Все очень тяжело и скучно и этого единственного счастья нет. Если ты не приедешь, я *умру*, я обещала нашему мальчику, Тоша. Милый, женка твоя ужасно скучает, целует тебя долго, долго, сильно - сильно. Приезжай, родимый, приезжай, как можно скорее. Не оставляй скучать и плакать твою Леку. Мы осиротели, Тоша, ради Бога приезжай. Еще тысячу тысяч целую тебя.

18. письмо.

Мамочка, ты все уже узнала, без меня. Но подробности этой тяжести не знаешь. Когда приехала ко мне Лека, она очень скучала, я ее развлекал, стараясь утешить, чтобы отвлечь от мыслей об Аденьке. И жили мы с ней очень мирно, дружно, ласково, ходили к знакомым, одним словом, жизнь наша протекала очень спокойно. И вот, 8-го числа, когда мы были на рождении у доктора, удивительно много старика (он в нашей экспедиции), после

ужина зашли разговоры о материнской любви. Лека страшно горячилась, — ты знаешь какая она у нас нервная, — потом разговоры перешли на другое, смотрим нашей Леки нет, бросились ее искать, и я ее нашел в гостиной совершенно темной, прижалась в кресло и дрожит, дрожит, шепчет мне, что Аденька ее зовет. Я ее успокоил. Так прошло недели с полторы. И вот, 11-го ноября, когда я занимался делами экспедиции, вдруг ко мне приходит наш служитель и говорит, что пришла моя жена. Я вышел к ней и спросил: Лека, ты зачем? — Так, что-то скучно, Тоша. Поцелуй меня. Я попросил служителя подежурить в канцелярии, а с нею пошел по садику около дома и по улице, как был, в гимнастерке. Погода, несмотря на осень, была удивительно хорошая и теплая. И мы болтали с Лекой о разных пустяках. Потом она меня опять проводила до нашей чертежной и канцелярии, расцеловались — простились, она жаловалась, что ее лихорадит и попросила у меня из походной аптеки немного красного вина и, выпив пол стаканчика, ушла. И через минуту, вдруг, опять приходит и говорит: Тоша поцелуй меня еще раз.

Я ее начал стыдить, и сказал, что нарочно не поцелую ее, если она будет капризничать. Она сказала — ну смотри, и ушла. А ночью меня арестовали. Отобрали у меня револьвер, я его всегда носил с собою, боялся, чтобы не украла Лека, а когда был дома заперал в чемодан. Я думал, ну что же . . . у нас все возможно, а тут как раз шли аресты. Был спокоен и спал в тюрьме. На следующий день приходит начальник экспедиции меня освобождать, и он просит извинения и

говорит, что Лека застрелилась. Я упал. Оказывается, она украла револьвер из под подушки у студента Симанова, когда тот спал, пробралась к нему в одних чулках.

Мамочка, единственная, я затвердел, я не знаю как писать и о чем писать, у меня вертится почва под ногами. Я лечу к тебе, раздели мое горе.

Твой Анатолий.

Я ничего, положительно ничего не понимаю и страшно устал.

19. Опять какие-то табачные карточки.

20. Еще табачные карточки, без купонов — одни корешки 1917 г.

— Все?

Спросил Климович, мигая от лампы, когда Фирсов свернул в газету пачку.

— Все. Вот он — весь.

И Фирсов подвесил пачку на ладони.

— . . . и письма не отправил.

— И не долетел. А как мы с тобой долетим ли?

— Куда?

— Вот именно, что никуда.

Начали ложиться спать, молча.

Только Фирсов долго возился у железной печки, развешивая носки, чтобы они просушились за ночь.

— Что мы . . . Не мы, жизнь летит. И любовь летит, Феденька. Что наша жизнь — игра . . . Так. И земля, Феденька, летит . . . А мы в этой жизни, ни черта не понимаем. Хотя мы и герои, военная кость, а за героизмом молодость пролетела, земля, остановись.

Климович засмеялся.

Ночью напоззала на Фирсова огромная желтая табачная карточка и отстриженные купоны, точно черепашьи лапы в брючках; табачная карточка пухла, глотая табачный дым. И Фирсов жался в угол и чихал-чихал от дыма и думал, — что вот если сейчас он не вспомнит: какого года эта карточка, то его задушит домом. Он стонал, хотел крикнуть, но вместо крика — одно чиханье.

Ночь эта — душная, странная — как гроза, в январе.

. . . . .

Оба, и Климович и Фирсов, проснулись утром черные от сажи.

Вчера забыли потушить огонь. И за ночь накоптела лампа. Черный жир летал по комнате.

— А я то чихал.

Смеялись Климович и Гумар.

Только Фирсов, по обыкновению, серьезен.

— Чего смеетесь? Вот живешь, живешь, а потом остаются табачные карточки.

Тогда замолчал Климович.

А Фирсов долго глядел на него.

Глаза большие и круглые — с ресницами жидкими, что грязь. Глаза эти — как зашлепанные колеса.

— Ну?

Спросил Фирсов.

Колеса — вещь простая.

И в глазах будто просто.

Но не у места, оттого страшно.

Тут захохотал Фирсов. И хохот его режет — как ветром рвутся тугие холсты.

Климович ничего не сказал, надел шинель, чтобы скорее уйти.

Когда хлопнула за ним дверь, Фирсов сразу остановился, точно с'ел кость.

— Ну и дурак! Тела тяжелее воздуха летят, держась магической скоростью. Чем скорее, тем лучше.

И ходил, ходил наискосок: от печки в угол, от угла к печке, чтобы умять что-то в голове.

Походка у него редкая, широкая, что у большого зверя, но путаная, будто ищет он тропу, а уж ее давно закрыло, и лапы тонут в сугробе.

Тогда подсел он к столу — написать записку.

И когда написал

«Валя, сегодня жди в 10.»

Довольно потянулся, выгибая длинную спину.

Точно нюхал он землю, траву или след — где недавно прошли. И, облизав, заклеил конверт.

— Гумарок, по пути занесешь к Валентине Петровне, ладно?

И только ответил Гумар:

— Занесешь . . . ладно —

Как вспомнил Фирсов — что сегодня ночью опять греть будут пожки белые и пахучие, как папироска . . .

И, про себя, невидно, неслышно усмехнулся.

Этому он научился у лошадей.

— А земля все-таки летит . . .

И опять незаметно улыбнулся.

## 8. Трактир купца Тряпкина.

А. В. Доброхотов ракетой влетел в город.

А что такое ракета?

Ракета — вот.

Ра—аз . . . вспыхивает, и с шумом вьется, вдруг треск — лопнула — и, осветив шарами, со свистом спускается и — потухла . . .

Это можно хорошо показать зубами.

Могила А. В. Доброхотова у Попы на Буграх.

Девыцы поставили крест, обвив венком из бессмертников.

Три недели по городку перебегали слухи — с мягкими лапками, что мышки.

И сразу прекратились, будто их прихлопнуло.

Почему?

Трактир открыт. Купца Трякина.

— с вином и прочим.

Так на вывеске.

И опять обыватель в шубе — тот что бацает палкой в снег, и у него умная старая борода треплется по шубе, как седое лыко, — стоит на перекрестке и рассуждает.

— Ты что думаешь? ... обожди, монополька будет. Каждой стране требуется народ веселой ... Не иначе. Вот откуда свобода. — Понял? Народ веселой требуется. Пар выпустить требуется ... Понял? Они — И он тыкал палкой в облако.

— ... чимберлены ... Понял?

Старик этот всю жизнь свою выписывал «Ниву» — до последнего номера перед революцией. Из всех приложений составила у него библиотека.

Фамилия его была Ютанов, и дед его — крещеный татарин — торговал изюмом. Он же только читал и приучил молодежь бегать к нему за книжками.

И звал себя в городе — «культурным центром». А потому, что ходя в церковь, перестал ходить к причастию, попы с погоста стали дразнить его просто — Центром.

— Что значит причастие? Что значит тайна? То есть ... в вос—по—ми—на—ние ... Да я вспоминаю

А поповского вина в храме не хочу. — Ежели тебе вино требуется, иди в кабаk.

В революцию же занимался тем, что постепенно и тайно расторговывал свои книжки. А при продаже каждой книжки, крихтел так, точно его душили.

— Я же русский . . . я — же душу меняю . . .

Дед его помер в 1917 году (а отец гораздо раньше).

И помирая, все твердил уже седому внуку.

— Ты смотри . . . ты смотри . . .

Что хотел сказать дед — никто не понял. Нынче Ютанов любил посидеть в открывшемся трактире, попить чайку. И каждый день читал в общей зале объявление —

На стол как-то уборы

палки, зонтики и проч.

л о ж и т ь

строго воспрещается.

Всегда спрашивал прислугу:

— Что за «ложить» . . . Эх, Азия — буржуазия.

В каждом русском городе всегда есть хоть один такой старик.

И о нем всегда надо писать.

Почему-то они всегда самые интересные.

Если бы жив был еще купец Тряпкин — было бы куда лучше.

Да несчастный случай — выше сказано: утонул в бадье с кумышкой под самый крещенский сочельник.

Год уже прошел. Старика нет. А фирма опять воскресла.

О Доброхотове же все осталось тайной.

И по четвертой неделе даже девушки перестали о нем думать. И разве те из них, у кого особенные глаза —



как зацветшие мутные пруды и около глаз синяя широкая тина — кто особенно часто бегал к акушерке Зайченко, — те еще, нет-нет, да и вспоминают.

В верхнем зале трактира, устраивались танцы — «танцы сверх апопсеа, танцы до шести, танцы до упаду».

Городок начал танцевать. Где уж тут помнить. Старик же Ютанов, — наблюдая в окно из первого этажа, как идет на танцы, или просто на прогулку Валентина Петровна, с провожатыми, — а провожатые эти, обыкновенно, Климович и Фирсов, — сердился.

Не любил ее Ютанов. И всегда говорил:

— Смотрите . . . вибриону требуется две запятые.

Не нравилась ему она губами — дерзкими, как кровь (эти губы особенно хороши на морозе) — или тем, что похожа она была на сухого щеночка — маленького и ласкового. Щеночек ласкается ко всем.

И когда на танцах подходил к ней Климович, она вдруг отказывала.

— Любчик, обещала это я Фирсову, с тобой ту-стен . .

А когда Фирсов —

— Детик мой, это я с Феденькой.

И, чтобы не сердились, приказала им в следующем разу составить точное расписание.

Но никто и не мог на нее сердиться.

И этот следующий раз вышло так.

У трактира купца Тряпкина вывесили плакат: красноармеец развешает знамя, и на знамени написано: «Грандиозный святочный Бал-маскарад. Артедвизиональный оркестр, билеты в культурпросекоме, дивиз. и кинемат. «Алор» . . . —

Дальше афиша.

И еще — «маски обязательно».

Еще — «всякая девушка, получившая большее коли

чество поцелуев — получает мужа по желанию из присутствующих. Приз, Приз!»

В нижнем этаже трактира оставался буфет. В верхнем только танцы. По потолкам шел дым. Из корридоров сквозило кухней. По лестницам и комнатам — все в разных костюмах. Слышно пудру.

Маски глядят как точки. И в воздухе какая-то липкая сырость. И оттого, что пестро, цветные костюмы, и липко, и людей много, и люди сразу сходятся, прилипают как - то, и оттого, что не видно лиц, все похоже, одного вкуса—от всего этого казалось, будто попал в коробку с монпасье.

В буфете, почему-то, сидели все турки и пили пиво. И особенно умело разливал по бокалам один — кругленький и упругий, смахивающий на пробку.

Это взволновало даже квартального Фонарикова, и он раза два прошелся через буфет.

Турки приняли его за костюмированного, и решили качать.

Но он обиделся и не дался.

Каждому мужчине были розданы пачки квиточков для собирания поцелуев. И все мужчины ловили в комнатах женщину, маленькую и легкую. Костюм у нее был из разноцветных кусочков. Каждый кусочек подымался и туда можно целовать — в голое тело.

Лицо целовать она не позволяла.

Не знали — кто она.

Но решили так. Или это акушерка Зайченко, или Валентина Петровна.

Спорили.

— Нет у нее живот мягкий.

— А коленки то, будто, повыше.

— У Зайченко, у той, такие зады . . .

Ютанов, сидевший в буфете без маски (единственный: — мне не требуется, я почти маска) — учил.

— А ты середний кусок подыми, сразу узнаешь.

Наконец, подоспел час присуждения приза.

И когда потянулись дамы . . .

И подсчитало жюри квитки . . .

И балалаечники грянули туш —

к столу подошла женщина из кусочков и сняла маску.

— Ваш приз.

Оказалось — Валентина Петровна.

Тогда уж все сняли маски.

Пробковый турок — Лепукали, остальные турки — товарищи по дивизиону. Также — Климович и Фирсов.

И жюри предложило приз.

А крутом стоял хоровод и смеялся.

Валентина Петровна присела.

— Господи, об этом-то я не подумала . . . Разве воп того мохнатенького . . .

И она ткнула на Климовича.

— Или нет . . . нет, позвольте. Лучше бы долгенького . . .

На Фирсова.

Тут Лепукали не выдержал и, побежав в сторону, фыркнул изо рта пивом, точно сиг, балуясь в воде.

— Или нет, мохнатенького . . . Нет . . . Да я же маленькая, что я понимаю. Нет — нет.

Прыгнула, хлопая в ладоши, запела.

— Мне нелзя. Я — невеста, невеста. У меня есть жених.

Но жюри упрямилось.

— Жених далеко. Извольте выбрать-с . . .

И сгрудились вокруг еще плотнее.

Валентина Петровна посмотрела: стоят теплые, плотные — сейчас бросятся.

— Ну . . .

Начиналось словно в серьез . . .

Валентина Петровна еще раз посмотрела и руками даже щелкнула, как игрушка.

— Ну тогда дайте того . . . долженького . . .

Апшоднементы. В бокалы с пивом кинули соли, и они запенились.

Попел звон бокалов.

Заставляют Фирсова поцеловаться с Валентиной Петровной.

Валентина Петровна увидела, что Климович с бокалом отходит к стене.

— Феденька . . .

Она подбежала к нему.

. . . Лапочка, да ведь все шуточки. Шуточки. Ну. Ну, давай чокнемся. Господи, неужели ты этого не понимаешь. Ну . . .

— Нет.

У него вдруг надулись и охолодели, точно снег, щеки.

И он брякнул бокал об стену.

Брызнули осколки и пиво.

Климович быстро вышел из залы.

Валентина Петровна покраснела, дернула волоса . . . и с криком, почти хрипя —

— вот, вот, вот, вот,  
выскочила за ним.

И, догнав в под'езде, обхватила обоими руками его голову.

И, чувствуя около губ своих ее милую и родную шею, и горло — где что-то хрипит и рвется, он мог сказать только одно:

— Валечка . . . радость моя . . .

## 10. На иголках.

Когда туманы опутают море, и льды, коробясь от ветра и вдуваясь, трутся и крошатся — шикто тогда не выходит в море.

В стране моей — нет моря.

И когда тоска — не уйдешь в волны.

Военспец Фирсов перевелся по рапорту из 1-й батарени в 3-ю.

То-есть из той, где он служил вместе с Климовичем.

Лепукали, подписывая приказ, велел позвать Фирсова, и, показав ему собственный его рапорт, строго спросил.

— Это что же такое . . . а мотивы?

Фирсов зажал рот. И гладкое его лицо, неправильное, но точное, как затвор у орудия — замкнулось.

— Не можете?

переспросил Лепукали.

— Не могу.

Как выпалил.

— Стыдно, я этого не допущу . . .

Лепукали встал из-за письменного стола и прошелся по комнате к двери и обратно, и казалось, — что это усталая рыба гуляет в затоне.

— Стыдно! Вы думаете, мне не надоело, мне не тяжело . . . я шестой раз пишу рапорт в Москву, и никакого ответа . . . Вы подумайте . . .

И он подошел вплотную к Фирсову.

— . . . ведь наш долг все поднять . . . А вы, товарищи . . . из за какой-то живалой бабы . . . ф—фу!

Лепукали плеснул рукой.

Фирсов, отдав честь, отодвинулся к двери.

— Разрешите выйти, товарищ комиссар.

— Можете.

И когда Фирсов выходил, Лепукалин крикнул ему вслед.

— Приказ я подпишу . . . Только стыдно, очень стыдно, товарищ.

По дороге попадались Фирсову какие-то старухи и оглядывались на него.

Должно быть, — он разговаривал сам с собой.

Он думал о Лепукалине — что это немудрый, но очень честный и преданный работник, и что, благодаря таким, как он, год от году крепнет армия.

Тут же, почему-то вспомнился старик — бригадный генерал (это еще на немецком фронте). Старик любил говорить прапорщикам.

— Честь погончика — честь России, молодой человек. Это - с все. Извольте помнить. А тут что . . . Тут - с . . .

И он тыкал в голову.

— . . . серое вещество да кости. То - то - с! Пренебрегите . . .

Чем пренебречь — генерал не договаривал.

На поле, на буграх — снег уже порыжел.

Воробьи знали, что крещенские морозы прошли.

А у казарм дивизиона эти рыжие как снег, добродушные птицы весело чирикали носиком, расшвыривая конский навоз.

И Фирсову хотелось стать этой русской птицей, с очень удобною и дешевой душой.

Когда он вернулся домой, Климович сидел у стола и перечерчивал с'емки осенних маневров.

— Федя . . .

сказал Фирсов, снимая шинель.

— . . . надо нам поговорить.

— Да.

— Помнишь, мы вместе ловили бабочек.

— Да.

— У нас ведь длинная жизнь.

— Да . . . Собственно, ты о чем?

И его черные глаза (затянутые мохнатыми, как у зверя, ресницами) — любившие смеяться, но не умевшие говорить, загляделись в Фирсова.

Фирсов, тыльной частью руки, провел по подбородку.

Небритый, щетинистый, как жесткая шкура — он скрипел.

— О чем . . . О Валентине. Ты ее не взял, как женщину?

— Нет . . .

И Климович тут почернел, как уголь.

— Ах, дурак, дурак. Возьми, возьми. Я думаю, что ты ей больше нравишься. Вот увидишь, все тогда переменится.

— Не будем говорить о Валентине. Но, все-таки, спасибо, дай руку.

Так шли вечера.

А, может быть, так шли и дни.

И дни и вечера — сырые и темные, как перед рассветом.

Это — похоже на то, что я видел ребенком, гуляя с мамой по Зоологическому саду (каждый день).

Тогда я плакал — зачем попугай у входа сидит на цепочках, пристегнутых к левой ноге.

О . . .

Если бы знать по настоящему, хоть один день, волка, тогда можно бы понять многое в этом мире.

А у нас — все то же . . .

О чем и раньше говаривал Ютанов.

— Видишь. Я был прав: «Вибриону требуется две запятые.»

Это все оттуда же, из первого этажа Тряпкинского трактира, когда Валентина Петровна выходила опять гулять в прогулку, а сбоку — Климович и Фирсов.

— Вот собака . . .  
кричал Ютанов.

— . . . я бы ее пристрелил.

И оттого, может, скучно было в небе.

И скучно в подворотнях.

И псы прислушивались — не будет ли чего . . .

Даже перестал читать газеты портной Бурштейн, — тот самый — у кого самовар отникеллирован, а трех-вершковый К. Маркс покрыт позолотой. — Есть выражение — «сидеть на иголках». Так вот городок «сидел на иголках» и ждал, почти с нетерпением, когда будет позволено ему уколоться.

Только квартальный Фонариков спокойно обходил его утром, днем, вечером.

А ночью дежурил в участке.

И красная звезда, заточенная в овал скрестившихся веток, все также безмятежно была приколоты к левой стороне его полшубка.

## 11. Ночное.

Однажды когда Климович возвратился, в час ночи, от Валентины Петровны, а Фирсов уже лежал, этот разговор начался неожиданно, также, как приходит в страну ветер.

— Ну, как?

спросил с кровати Фирсов.

— Чего как?



— Я спрашиваю — взял ты Валентину или нет?

— Чо—орт, что ты ко мне привязался, что тебе надо . . .

Климович затопал ногами.

— . . . какое тебе дело . . . взял, не взял . . .

— Дурак. Надо брать, —

сказал Фирсов и отвернулся к стене.

Если за окном сырая, что кисель, тьма, а в печке угли темные и гуще дурной крови, и людей не видно, потому что свет выходит только из печи, и сумерки качаются перед глазами, легче паутини — разговоры тогда темны и зыбки.

И качается в этот час душа человека.

Фирсов говорит.

— Федя, как ты думаешь . . . Надо было Доброхотову стреляться?

— Не надо.

— Почему не надо?

— А почему надо?

— Нет, ты прикинь на руку, как пакетик. Что ему оставалось?

Климович засмеялся.

— Да . . . Если так, так и мне надо стреляться?

Молчали.

Фирсов боялся, что сказанные слова тоже закачаются перед глазами.

И свяжут.

Климович подошел к его кровати и пощупал около, руками, тьму.

Такой жест.

— Ты знаешь . . . Мы, кажется, это потеряли.

— Что?

— А вот, почему надо, или почему не надо . . .

— Мы . . . это я понимаю . . . но вот старуха . . .

— Какая старуха?

Климович испугался.

Ему показалось, как гладкое, конье лицо Фирсова совсем заморзло, и глаза вылезают из впадин, что обглоданные вязкие мосталыги.

Он отошел, чтобы сделать себе постель.

Потом лег.

И думал — если Фирсов сойдет с ума . . . сойдет с ума.

Но ничего не придумал.

Печка потухла.

Они не говорили, но каждый чувствовал, что другой не спит.

И каждому лень было встать и задвинуть вьюшку от печки, чтобы не уходило тепло.

Климович не может вытерпеть.

Некоторые слова бывают, как гвозди.

Забьешь не туда — и мучаешься . . .

Чем вытащить?

Кашлянул.

— Фирсов!

— Что?

— Ты не спишь? . . .

Фирсов молчит.

— . . . а, ведь, вьюшка, открыта . . . Фирсов?

— Ну? . . .

— Я говорю, открыта вьюшка.

— Отстань.

И опять тишина. Этой тишины — когда она, как зверь, вдруг выкипнет неизвестно, Климович не вынес

— Фирсов!

— Что?

— О какой старухе ты говоришь?

— Это давно . . . отстань.

На улице ночь.

Древняя.

Точно тысячу лет назад.

Или две.

Даже, три тысячи.

Все эти тысячи идут.

И даже из комнаты чувствуешь, как тяжело она ступает в холоде и в сугробах.

И как кругом молчат поля.

И, даже, зверь не смеет кричать.

Климович заснул только утром — когда, измучившись и подобрав ноги к животу, вдруг почувствовал, что их внезапно сводит сладкая сонная судорога.

## 12. Иней.

В пять часов вечера, батареи вернулись с учебного проезда.

И когда орудия выстроились и, после переклички, люди отпрятали лошадей, Климович подехал из своей батареи к Фирсову.

Тут заметил Фирсов, что у Климовича лицо нежовано, и выварено, и травянисто — как у лошадей кало — желтое.

Но может быть — как кало у лошадей — желтое, в инее солнце.

— Что с тобой? Как скверно, как плохо.

— Ничего. Ты помнишь, о чем говорил ночью? . . .

Фирсов замахал руками.

— Ну — ну — ну, пошел . . . о чем . . .

— Нет, ты мне скажи, какая старуха?

— Фу, чорт. Далось. Ну старуха . . . давным давно читал в «Красной» . . . отправилась 50 лет . . .

— А — а . . .

Климович собрал в кулак повод — и лошадь поддала мордой.

Тут Фирсов улыбнулся — это очень редко.

И собрал на лбу кожу.

— Анекдот . . . Постой, как там в газете . . . Социалистическая улица, № 9 от разочарования в жизни.

Климович, расхохотавшись, дал шпоры — и повел лошадь галопом к своей батарее.

И иней на уздечке, лошадиных мохнатых мордах и по бороде Климовича блеснул мутным, что слово, солнцем.

Издали, чуть сгорбленно, будто зверь из норы следил с лошади за всем этим Фирсов.

И думал про Климовича.

— Зря фореншь . . .

### 13. Игра.

Февральский снег — мягок.

И соленый — будто слеза.

Он уже ждет воду и, потому, тяжел.

Таким снегом хорошо играть в снежки.

Сегодня, за городом, по погосту Ионы на Буграх, Валентина Петровна бегала с Климовичем и Фирсовым.

Бросались снегом.

И Валентина Петровна была веселая, пушистая, снежная, как ветер — легкий по мягким дням.

Когда шла домой, она рассказывала.

— Тупики мои . . . снегу то . . . снегу . . . Помню однажды . . .

— Валя . . .

оборвал ее Климович.

. . . . . опять из своего архива. Довольно.

Она смеялась.

— Ах, лапочка. Какой ты нервный. Полечись.

На пороге у палисада спросила, опять смеясь.

— Ну, детки. Кто сегодня зайдет?

Стоит на ступеньке — хорошенькая.

На морозе у женщины хорошеют глаза и губы.

— Так как же?

Климович почернел.

— Валька, не смей играть. Пойдем, Петя.

Простились.

От того, что зашло солнце — улицы сразу посерели  
и осунулись.

И идти по ним было скучно.

Дома, сняв сапоги, как всегда, друзья улеглись.

Климович вздохнул.

— Петя, ты не заваришь чаю?

— Вставать . . . (Фирсов зевнул).

— А знаешь, Петя, это мне надоело. Надо что-  
нибудь одно.

— Надоело, эх ты прыщ мохнатый.

И Фирсов засмеялся.

— Отчего то ты больно веселый, а?

— Отчего. Ни отчего. Что надоело-то?

— Да все.

— Хочешь вылету? . .

— Ну . . .

Фирсов, встав с кровати, опять засмеялся.

— Подожди . . .

И полез под кровать, вытаскивая сундучек.

Сундучек был обит жестяной — такие сундучки выделявали солдаты на фронте.

Фирсов стоял перед сундучком на коленях и рылся.

И Климовичу было смешно глядеть на ноги Фирсова, в белых носках, (как шевелились желтые на носках пятки).

— Вот!

Сказал Фирсов.

И вытянул из сундучка ногу.

Климович вскочил.

— Зачем?

— Зачем? Отличная игра. Я вчера без тебя пробовал. Видишь, в барабане семь камер. Куда-нибудь я закладываю один патрон. Потом вот так . . .

Фирсов чиркнул барабаном револьвера вдоль по рукаву.

— . . . И теперь вот.

Приставил револьвер ко лбу.

Спустил курок.

Затвор щелкнул сухо — как ноготь об ноготь.

— Пустая.

Сказал Фирсов и бросил револьвер.

— Попробуй.

Климович осторожно поднял. Подержал в руках.

— Ну, а если как раз угадаешь . . .

Фирсов засмеялся.

— На то и игра.

Климович рукой нащупал сердце. Сжал руку, поймал стук.

— Ну ладно, значит так . . .

И он чиркнул барабаном револьвера по рукаву вдоль, также как Фирсов.

— Теперь сюда . . .

Дуло врезалось в кожу.

— Прощай Фирсов!

И не узнав своего голоса, нажал курок.

Перед глазами метнулась искра — уловил секунду, когда треснул ударник.

Крикнул.

— Пустая!

И тоже бросил револьвер об пол, будто отвалил чугунную тумбу от сердца.

И встал, чтобы полотенцем отереть со лба вдруг выступивший пот.

И через десять минут расхохотался.

— Жив.

Хохотал.

Не знал, что сделать с ногами.

А в голове чесался от радости каждый волосок.

Запол.

— Замечатель-но-е сре-ед-ство. Заме-чательное срееед-ство . . . За-мсе . . .

— Брось дурить! Завари-ка чаю . . .

Это был первый урок.

На следующий день, когда вернулись из дивизиона и отобедали, Климович услал Гумара.

-- Ну, Петя, попробуем.

— Брось.

— Ну, один разок.

-- Брось.

— Я — первый . . .

— Пошел ты к чёрту.

— Ну дай. В конце концов, не твое дело, я не понимаю . . .

— Револьвер мой. И не дам.

— Я не понимаю, в конце концов . . .

— Отвяжись! Я тебе говорю!

Климович лег.

— Ну ладно. Тогда я украду.

Фирсов выбросил револьвер из под подушки.

— Извольте. Стреляйтесь.

Посмотрев есть ли патрон, Климович чиркнул по барабану.

И взял дуло в рот.

Спустил курок.

Ударило в зубы.

Крикнул.

— Пустая . . .

И опять встал, чтобы отереть пот со лба.

— Забавная штука.

Фирсов вскочил с кровати.

Злой.

— Теперь прикажете мне?

И, не дотрагиваясь до барабана, — сразу нажал.

Осечка.

Еще нажал.

Затвор жоркнул.

— Не то. Пустая.

Поднял курок и пальцем перевел барабан на соседнюю камеру.

Как раз тут встал патрон.

Из камеры глядела медная кансюлька.

— Вот видишь! Рядом.

На третий день опять устали Гумара.

На четвертый — в дивизионе заметили, что Фирсов и Климович необыкновенно развеселились.



На пятый — когда усылали в гости Гумара, он отказался.

— Был. Куда пойду, негде ходить, везде был.

— Ну иди на кухню . . . в клуб . . .

Эти дни были жгучие, как огонь.

Пробовали не по разу, а сколько придется.

И револьвер тянул, точно водка.

И от него голова горячая, но веселая и ясная.

Это — запой.

Фирсов кривил губы.

— Ну, скоро нарвемся . . . Может быть эта . . .

Сказал он, передавая револьвер Климовичу.

Климович лег.

— Куда стрелять уж не знаю. Все места перепробывал.

— Стреляй в задницу, верное дело.

Раскохотались.

— Не смейся. Мне кажется я сейчас помру. Вот!

Отогнул рубашку. Взял в руку сердце.

— Оно!

Приложил дуло.

Хотел нажать, как раскрывается дверь и входит Гумар с запиской.

— Ответа спрашивает. Ответ будет?

И, увидав с револьвером Климовича, упал.

— Брось, брось . . . Собака не делает, человек делал.

И — и — . . .

Закричал он и выбежал.

Фирсов выхватил револьвер у Климовича.

— Ну, будет хлопот. Надо вынуть патрон.

Поднял курок.

И сердце царапнуло, что иглой.

— Смотри.

В камере против курка лежал патрон.  
Климович потемнел, но ничего не сказал.  
Записка-же от Валентины Петровны.  
«Петенька, мне скучно. Приходи без Клима . . .»

Через четверть часа от них было отобрано оружие и  
под караулом они были доставлены к комиссару.

## 14. Розыгрыш.

Нынче рано взялась весна.

По Локве обозначились черные маслянные зажоры.  
И мальчишки боялись бегать на коньках.

А воробей уже старался огулять самочку.

В городке были довольны, что все как - то кончилось,  
и что два друга успокоились — вторую неделю под арестом.

У девушек опять заблестели глаза.

Через караульных передавали они заключенным записочки и пирожки.

А Валентина Петровна заперлась дома.

Говорили, что теперь она молится по ночам.

И все девушки в городе — ей завидовали.

Только Ютанов — старик гремел в трактире.

— Ее, собаку, пристрелить мало!

А Иона на Буграх пел великопостными колоколами.

И может быть оттого стало на душе тихо.

Тогда, по приказу комиссара Лепукална, они были освобождены.

И когда явились — Лепукалн не узнал их.

Так со сна — облившись холодной водой замертвсешь,  
а потом побежит от сердца ясная и горячая кровь.

Но что расскажет кровь . . .

Тот — кто понимает воду, поймет и кровь.

Ведь и в диком камне есть правда.

Знающий травы скажет: вереда — горькая трава, но чем горше она — тем дороже.

Также и женская любовь.

И в этот вечер пришел Лепукалин, и дивизионные с девушками.

Те — что заботились о пирожках.

И Валентина Петровна — сегодня в черном закрытом платье.

И от волос ее пахло простой и скромной лавандой.

Климович тихо пожал ей руки, улыбнулся в бороду, и, хотел сказать что-то, вдруг отошел.

Потому что — кругом народ.

И она хотела.

И глаза у нее были обиженные. И руки — обижены.

И только тогда, когда Климович обходил стол, наливая каждому, она вдруг прихватила его за локоть.

— Феденька...

— Ну, что...

— Мне очень тяжело.

Они отошли от стола, в угол.

— Мне очень тяжело.

— Да...

— Если бы знать раньше...

Тут она посмотрела на Фирсова. И Фирсов из за стола посмотрел на нее.

— Феденька, ведь теперь же мне страшно решать. Как мне решать?

Из этих глаз, чуточку наклонных, глядела не Валентина Петровна, а старая бабушкина кошка, когда бабушка вяжет напульсники, а кошка неподвижно,

целый час глядит на клубок ниток в бабушкиных уютных коленях, и кажется, что кошка, конечно, смотрит не на клубок — что в кошачьей желтизне зрачка не клубок, но что же...

И Климович сказал.

— Ах, уйди.

Над столом уже подымается пар.

И оттого, что много людей и много папирос — тускнеют потолки.

Водка, как веселый дым, ходит в теле.

И даже Лепукалн говорит о любви.

— Стыдно, товарищи. Физиологический акт. Из любви человека не убьете...

— Убью...

Улыбнулся Фирсов, проведя пальцем по подбородку (чисто ли выбрит...)

— Почему? Вот вы всегда говорите — рабочие руки, мозолистые руки... А вот мои руки...

И он протянул их над столом.

Руки были аккуратные, с натянутыми, как мускулы, буграми. У волка тоже на лапах мозоли пухлые и тугие.

— Надо только подумать, простая арифметика. Семь лет войны, товарищ Лепукалн. Семь лет крови... А совсем простые руки.

Все засмеялись.

А Лепукалн, плеснувшись в стуле, что рыба, сказал.

— Не марксистский подход.

И все засмеялись еще громче.

В звоне рюмок — и то есть хмель.

От обманчивых глаз соседки — и то сжимает нежно голову.

А когда в пирушку запотеют зеркала — и стулья у стола полезут в стороны, тогда кричит всегда Фирсов.

— Куль—ми—нация!

И все кричат в голос.

— Кульминация!

И выкидывается тогда какая-нибудь дерзкая штука.

— Разыграть Валентину Петровну!

И у соседки зря целуют руку.

Все равно чья . . .

Только бы пахло женщиной — как водка водкой.

— Разыгрывать!

И Фирсов, похлопывая Климовича, шепнул — смешком.

— Давай-ка, брат, серьезно. Уж кому, так кому . . .

Столько дыма, что он падает в бокалы.

— Тянуть только им . . .

И опять у соседок зря целуются руки.

Когда Климович потянул из пачки жребий — рука чуть дрогнула.

— Пустая . . .

И он откинул бумажку, как тогда револьвер.

Но бумажка падала медленно.

И с новыми рюмками — новый гам.

И не знают, куда сунуть окурок — в яблоки или в соусники.

В эту минуту женщина нам нужнее вина.

А любовь — горьче вереды.

Валентина Петровна — на коленях у Фирсова.

Она — долго смотрит, как Климович щиплет темную свою бороду.

Пальцы у него белые, как овцы.

Локтем Валентина Петровна упирается в стол, в руку — между пальцев, указательным и средним, — пустая рюмка.

Так — она тихо покачивает рюмку.

— Миленький, не люби ты меня. Я — стерва.

Климович, вынув рюмку из ее пальцев, отставил.

— Разобьешь . . . стерва то только и любят. А ты как думала?

Тут Климович встал, и, набросив шинель в нахидку, вышел.

Кто-то крикнул ему в догонку (— кто он не слышал).

— Ты куда?

Он хотел ответить — сейчас . . .

И забыл.

## 15. Мотька.

В семь часов утра — за заборами пегие рассветы.

И мартовский снег вял и тонок.

Когда идешь по нему, он хрипит и тает под ногой.

Квартальный Фонариков в валенках подымается по лестнице к комиссару Лепукалну, печатая на ступеньках огромные, сырые следы:

Оттолкнул валенком от дверей желтую Ару. Она дико взмахнула хвостом. Фонариков прямо прошел к комиссару.

— Товарищ Лепукалн, товарищ Лепукалн . . .

Если над прудом ночью лодка с огнем, в пруде на-верное меньше смятения.

— Проснитесь . . . и-ей, товарищ комиссар.

— Чего . . . чего?

— Батарейный — вап — Климович — отравился . . . в публичном доме.

Лепукалн вскочил.

— Как . . . где ? . . .

— У Лепатихи.

В просоньях схватился Лепукали за носки.

Вытер ими нос.

— Что же это такое, что же это... как же это, как?..

— Очень просто, в нужнике.

В это же время Фирсов провожал последних засидевшихся гостей и, когда запыхавшийся вестовой комиссара прибежал к нему с новостью, Фирсов крикнул.

— Где?

И лицо его стало вдруг блее и суше кости.

За городом, на перепаханных огородах, где уже чернеет из под прозрачного кисейного снега темный земляной гной, — у крепкого и желтого, как копыто, дома бабки Ленатихи, с голубем, выструганным над крыльцом — толпа.

Немного расстушились, чтобы пропустить в дом доктора Фаворского, с посохом и котиковой скуфеейкой, похожего более на попа, чем на доктора.

В избе — следствие.

Допрашивают Мотьку — девицу круглую, но жидкую, белую, палитую водой.

В ушах у нее цыганские бронзовые подвески.

Когда она говорит — ее сырые, узкие губы вертятся, что червяки.

Из сеней, где валялся у раскрытой двери деревенского, в щелях, сортирчика, труп Климовича — его перенесли в избу, на репсовый диван.

И сейчас, когда Мотька говорит, она часто на него покашивает левым, безбровым — как у птиц, глазом.

Будто справляясь: — так-ли... .

— Они уже пришли к нам в состоянии, но из себя были вполне твердой.

— А что он говорил?

— Ничего он не говорил . . . Они только сказали мне — ложись.

— А потом?

— Сказали — ложись . . . Потом ничего не было.

— Что ты врешь.

— Я не вру, спросите бабушку . . .

И Мотька утерлась рукавом.

— . . . они, конечно, побаловавшись, спросили у бабушки квасу . . .

— Ну, а в стакан, в квас он ничего не насыпал перед тем, как выпить, это видела?

— Нет не видела.

— Ты, сволочь, не смей врать.

— Я не вру, спросите бабушку.

Следователь передал доктору Фаворскому бумажку с подноса. На этом же подносе еще стоял графин с квасом и стаканы.

Следователь сказал.

— Как же она не видела, он же при ней должен был насыпать.

Махнув рукой, он опять взгляделся в Мотьку.

— Что, у вас всегда дают квас?

Мотька долго думала — и после покачала головой.

Бронзовые подвески в ушах у нее трянулись.

— Нет. Кто что требует . . . Иные хотят пиву . . .

Тут сказал доктор, спрятав бумажку в бумажник.

— Повидимому циан. Я завтра узнаю.

Следователь, молча, ему кивнул. И снова обратился к Мотьке.

— Все-таки ты должна была видеть. Ведь он пил при тебе?

— Нет, не при мне, я от их была отвернувшись . . .



Мотька вдруг покраснела, будто за кожу пустили ей краску, и она снова утерлась рукавом.

— . . . чтобы оправиться.

Следователь, незаметно пальцем придавил улыбку, как муху.

— Ну, а что же было дальше?

— Дальше ничего не было. Они, спросивши — где отхожее — вышли.

— Ну и что же, долго ты дожидалась?

— Пообождавши с четверть часика, я пошла к бабушке, говорю ей, будто заснул гость там, ведь они были в состоянии . . . Как бы говорю, не замерз. Она мне говорит, ну так что, поди разбуди. Вышла я в сени и гляжу они лежат, ручка у них за плинтус схвативши и около их наш Васька бродит, кот. Мне сделалось нехорошо, и я побежала сказать бабушке . . .

Тут вмешался квартальный Фонариков.

Слова у него простые и мысли простые, что бляха с номером.

— А ценностей каких при нем не было?

И он кашлянул строго в рукав.

— Не знаю, мы не смотрели.

Мотьку арестовали по подозрению в убийстве.

Когда она вышла на крыльцо — снова расступилась толпа.

Мотька шла, прихрамывая, оглядывалась на народ и улыбалась.

Повидимому — она не совсем понимала, в чем дело. Сзади несли труп Климовича понятые.

А старик Ютанов в толпе тряс бородой по шубе.

— Я — **жа** говорил . . . я **жа** давно говорил . . .

Но его со злостью оборвал Фирсов, меняясь в лице — будто вялый снег.

— Что ты говорил, ну что ты говорил?

Старик остановился, боцая о снег палку.

— Ты мне старому человеку грубить? Которого все уважают, а ты грубить . . . По-годи!

И он пригрозил ему палкой.

И Фирсов, отойдя, пропустил сквозь зубы.

— Старый дурак.

## 16. Алый гроб.

День был ясный и теплый.

И пахло яблоней.

Это бывает — очень ранней весной, когда снег раскиснет, но почки еще спрятаны в ветвях.

На лафете, везли алый гроб, с фуражкой на крышке.

Венок, с широкой красной лентой: Дорогому товарищу и командиру Ф. Климовичу — 1 Батарея.

Венок от дивизиона — из елок.

От девушек — из вербы, теплый и серый, что овечье стадо.

Впереди гроба, за лошадьми — певчие.

Впереди певчих, пои — сухонький и высокий — как карандаш.

А за гробом, поддерживая траурную Валентину Петровну, Фирсов и комиссар Лепукалн.

Знакомые, многие из городка, девушки.

Сзади Гумар.

И уж сзади, за Гумаром, тарахтя передками, звеня частями, 1-ая батарея, при всех орудиях.

К погосту Ионы на Бутрах.

Пока шла обедня, комиссар Лепукалн, сидя на паперти, покуривал.

В голых и в хрупких еще ветвях и в солнце трещали воробы.

Сюда же подсел Ютанов.

Долго косился — одним глазом на воробьев, другим на Лепукална.

Надоело. Отвернул у шапки наушник — говорить мешает.

И опять кивнул на воробьев, и борода, от нетерпения полезла по шубе, что щепки.

— Воробей нонче сходится . . .

Улыбнулся он Лепукалну.

— . . . но в домашнем хозяйстве птица невредная. В теплых странах, говорят, существует птица пин-гвин . . . может и врут. Без воробья, я думаю нельзя . . .

И подвинулся ближе к соседу, замечая полою с паперти золотой на солнце сор.

— Душно там . . .

И ткнул палкой на церковь.

— Грешная, прости Господи, ихняя душа. Примета обязательно в народе, ежели скверный от тела дух. Не знаю, правильно ли . . .

Лепукалн молчал.

Вглядываясь в кресты на почосте, старик все беспокоился.

— Нынче я понимаю, как с одной спички Москва вспыхнула. Ее бы, холеру, подстрелить мало, а он еще поддерживает.

Лепукалн улыбнулся.

— Вы про кого?

— Про кого . . . Да про спичку эту, Вальку, прости Господи. Я давно говорил, что зараза. Надо было у нас начаться тогда с гостинницы. Вот нынче этот ухлопался, теперь того и гляди . . . Ты гляди за Фирсовым — то, будто он из лица желтоват. Нехорошо.

Лепукалн испугался.

— Да? Но, ведь, еще неизвестно. Может быть, Климовича отравили . . .

Ютанов расправил бороду — собрал в горсть лыко — рассмеялся.

— Уж не Мотька ли . . . Посуди, какой им расчет? Ведь с какого боку ни копни, что же они сами на себя уголовщину стали бы наваливать? Ведь дело то у их. Нет брось глупить, кто-же знает, дело-жа ясно, все, как на блюдечке, в Вальке вся причина, из-за нее и парень решился. Верно.

— Да это то верно.

— А Мотька ни к чему, пустая процедура, кто же не знает. Ребенку скажи, поймет, Господи . . .

Тут вынесли из церкви гроб — они встали.

За гробом, всю в слезах, Валентину Петровну вел под руку Фирсов.

И когда опустили гроб в могилу, она упала тут же в талую сырую землю.

Застучала спешно земля — зарывают у нас всегда быстро.

За погостом батарея дала залп.

Фирсов вздрогнул.

И Лешукалин осторожно оглядел его, как рыба наживку.

Тут же подошел к Валентине агроном Петровский, чтобы помочь Фирсову поднять ее.

По дороге с погоста, Петровский рассуждал.

— Вот похоронили. Честь честью. А давно ли, Валентина Петровна, вместе пировали в Кочетке. Пили здорово.

И когда Валентина Петровна ускоряла шаг, он старался поспеть за нею.

И говорил грубое, что не надо было говорить.

И казалось, будто он совсем не понимает людей, а только землю.

Забирая ладонью воздух, точно нажимая плут в землю, показывал он на поля.

— Вот скоро пахать будем. А к чему это все. И жизнь то наша кабак и любовь то кабак. Много пишут нынче про новую политику, а нам это вовсе не зачем. Мы и по старой то прожить не сумели.

Валентина Петровна плакала.

А в полях работало солнце.

И пикли снега, напанвая землю.

Земля готовилась.

После похорои, на четвертый день явился к следователю Фирсов.

— Я хочу дать вторичное показание относительно яда. Циан у него должен был быть. Тогда совсем забыл. Дело такое, что когда мы покидали румынский фронт, мы разделили, несколько офицеров, полковую аптеку . . .

Следователь внимательно взглянул на него, и Фирсов замешался.

— А, зачем Вам был нужен циан?

— Это объяснить трудно . . . Просто психологически. Вы понимаете, ведь тогда мы полковое делили. А потом продавали румынам орудия, или лошадь, за пять целковых.

— А у Вас есть циан?

— Есть.

— При себе?

Фирсов сунул руку в карман и сейчас же выдернул.

— Нет . . . То есть да . . .

И опять сунул.

— . . . есть. Вот!

Следователь повертел в руках пакетик.

— Спасибо. Он вполне совпадает с тем. Впрочем — это даже лишнее формальное доказательство. Из допроса всех свидетелей нам совершенно ясно, что Климович должен был кончить с собой. Самоубийство впопыхах, без записки . . .

— А Мотька?

— Завтра освободим. Если кто здесь и виноват, так вы.

— Я? . . . как я? . . .

И Фирсов опять замешался.

— Конечно — вы . . . косвенно, правда . . .

И следователь лукаво улыбнулся.

— . . . но как тут привлечь, тут мы бессильны. Это дело романистов.

Фирсов тоже вежливо улыбнулся.

И ответил.

— Это все равно.

— То есть что — все равно?

— Если-б и я . . . Зря человека не отравишь.

Следователь, плоский и толстенный, коричневатее клопа, отмахнулся и прыснул.

И смех был гаденький, что кровь у клопа.

— Шутник . . . Смотрите, смотрите. Так можно . . .

И он постучал себя по лбу, как в коробку.

Фирсов усмехнулся (но следователь этого не заметил, эту усмешку понимают только лошади) и вставая, резко царапнул по полу шпорой.

— Честь имею . . .

Вышел.

И, на улице вдруг расхохотавшись, побежал по дороге.

И псы лаяли на него из под ворот, гремя цепочками.  
На небе навалило гору весенних удивленных облаков.

## 17. После.

На шестой неделе поста, в субботу — когда у Локвы оживут темные, как кровь, вербы и разбегутся по этой упорной и легкой кожице серые и милые барашки, и когда полные вороха наломанных верб продаются на площади — знаешь, что скоро подымутся поля зелеными.

Сейчас уж земля зарыжела и кипит на солнце паром.  
В эти дни сердце — нежнее груши.

И петухи на дворах особенно яры и жестоки.

А курам надо спастись — захлопают.

— Мне хочется побежать, побежать...

— Валя, Валя.

Сжимал ее за руку Фирсов, когда она начинала дрызгать по луже ногами.

— Петушок, петушок.

— Валя...

Они шли из Отдела — где записывают браки, рождение и смерть.

И может быть потому Фирсов был скучен.

А ей хотелось поцеловать его здесь же на улице.

У женщин желания ясные и короткие — как у птиц.

И думать — они не хотят.

Валя говорила, что он возьмет отпуск — и поедут в Москву, к дяде, устраиваться.

Что в мае удобно пойти в церковь — для настоящей свадьбы.

А сегодня — будет все очень скромно.

— Хорошо...

Женщины не умеют молчать.

И береза шумит весной, белая — как невеста.

Так каждая женщина, пока кровь ее живет вместе с землей, просыпается по веснам невестой.

Тут мусор, что есть на зимнем льду — пусть унесет по наводку, молодую водой.

Мечтает так каждая.

В этом — ее короткое сегодняшнее счастье и большой покой:

И если бы знать хоть на минуту по настоящему, как волк — самец постоянно думает об оврагах, дорогах, западнях и охотничках — можно было бы рассказать о Фирсове.

Дома, по старой привычке, Фирсов улегся на тахту.

То, что теперь кругом ходила женщина и меняла рубашки и полотенца не по надобности, а по порядку — раз в неделю, казалось смешным.

Будто заяц путает петли, чтобы уйти.

Может быть и женщина этим прячет что-то свое — немудрое, но хитрое, — как у воробья — чего она никогда не покажет.

А воробей — рыжая и вороватая птица.

Валентина Петровна убирает стол.

— Я еще позвала Петровского, Петенька . . .

— Зачем?

— Как зачем? . . . Я же его, хорошо знаю. Я же бывала у него в Кочетке . . . С Климовичем-то . . .

Валя загибает по пальцам и удивляется.

— . . . он же приезжал на похороны . . .

— Валя.

И выбритое, гладкое лицо Фирсова сдвигается как-то в сторону, точно сбитый с орудия замок.



В прошлом — горе женщины.

Редкая — забудет о нем и смолчит.

А может быть это — как цветы.

Свежие — только приятны.

А старые, иссохшие между страницами толстого романа в душистый порошок — эпопея.

Как смолчишь? . . .

Фирсов ушел в спальню, прислонился к холодной блестящей спинке кровати.

— Да . . .

Это — в одном слове.

Так стоять можно долго.

И долго, и хорошо думать.

Но слов не будет.

Вечером громче и веселее всех говорил Петровский.

И как всегда грубо, будто ковырял землю.

Так было после десятой рюмки. —

— Лафа бабам, ей Богу. Сегодня она такая, завтра Фирсова, а после завтра саяка . . .

Тут он строил плута, подмигивая Петру Николаевичу.

— . . . сколько хошь фамилий. А какого нам-то несчастным, веквеченский с одной маемся.

Валентина Петровна краснела.

В этот вечер старик Ютанов спрашивал всех в трактире Тряпкина:

— Слышал новость-то . . . Полагаешь, что утомонись? А я-жа вот убей не верю. Не верю.

Старику было теперь скучно. Он искал предлога, чтобы кричать и греметь.

В мае провожали молодых с ландышами.

И на прощанье, даже комиссар Лепукалин так рас-

чувствовался, что заодно с дивизионными инструкторами, поцеловал руку у Валентины Петровны.

Этого с ним не бывало.

Все смеялись.

А он просил Фирсова.

— Не забудь из отпуска свеженьких книг привезти, слышишь? И то я поотстал...

И товарищи, глядя на радостное и большое, как у лошади, лицо Фирсова, думали про него:

— Хороший парень.

Через два дня после провод, приехал в город человек в ржавых, ржавее ржавчины, ботинках.

Он справлялся о Валентине Петровне.

Никто в городе его не знал. Но говорили, что это ее бывший жених (бывший капитан Шебалин) вернулся из Кавказской Армии.

Он несколько раз ходил на кладбище, к могиле Климовича.

Но с него не спускали глаз — следили.

И квартальный Фонариков говорил.

— Эдак, значит, около могилы он потолчется, потолчется и уйдет, как заметит...

Вскоре Шебалин уехал.

А старик Ютанов ругался на перекрестке и бодал о землю палкой.

— Я-жа говорил зараза... Он еще себя укокает, погоди, ему бы место пайти. Я жа из трактира видел, как он мимо шел, что по лицу у его мрак. Тут требуется крутая мера, а разве-ж они знают.

И он тыкал палкой в небеса.

А на небе ничего не было, кроме воды.

Весна эта — мокрая.

## 18. Москва, представитель АРА и молодая Россия д-ра Кипяткова.

Поздней весной 1922 года Москва цвела в жасминах.

Их вороха лежали на троттуарах Петровки, Кузнецкого, Тверской.

И троттуары надушились свежо и пряно, точно молодые красивые женщины.

В лоске витрин и блеске белых блуз и юбок и в свисте весеннего острого ветра, упавшего как утомленный любовник у женских ног, вот и там у босых замаранных ножек, продающих жасмины и там — где чулок тонок и сер, как весенний внезапный снег, у той сухой и надуманной искусным саножником ножки—прелесть весны.

Пrelесть весны и там, в лаке на крыльях пролетов, где вдребезги разбилось солнце, и кучер, глупая сипяя тумба, кричит с облучка — с горы.

— Во-ат, племянница Крепыша-с, прокатим в-сс...

А его лошадь играет подкрашенными копытами.

И если дотронуться до ее сухой, блестящей спины, она вздрогнет, как женщина.

А у женщин на бульварах губы — нестерпимые и кукольные.

И на Петровке такие же губы.

И, подходя к губам, не знаешь — улыбнутся они или, облизав вас глазами, жестко кинут —

— Какое вы имеете право...

И, сморщившись, уйдут в голубой мех.

Сегодня этот город пьянее вина.

И его проклятое благополучие давит Фирсова.

Раскрашенные клапанами и жоркая шпорами по троттуару, мимо идут генштабисты.

И Фирсов смотрит на Валю и удивляется.

У нее чужая заводная походка и тоже—кукольные, заводные губы.

В витринах — архитектурные конструкции товаров.

Треск пролеток и трамвайный дробот, и трепет платьев, и sireны автомобилей, и парадные предприятия и тресты, и широкие и мрачные катакомбы редакции «Правда», и изрытый оспой старик из голодной Самары, свалившийся в судороге на троттуар, и острая трель милиционера, и прыткие газетчики-мальчишки, и кармин на губах у женщин, будто рвут здесь женские губы, и рыв автобуса у Страстного Монастыря, выстрел у кафе-Риваль, мнут вора — и превосходнейшая дама, уронившая торт, — во всем этом волнение и дрожь центрального района города.

Вот иностранец, в пестрых гамашах, толкает под руку в пролетку затянутую в вязаный белый шелк, нетрезвую весеннюю даму.

Валентина Петровна прижимается к Фирсову.

— Петенька, я тоже, когда пьянонькая! — счастливенькая...

— Нам, Петенька, это надо.

— Зачем? Что надо?

И она тянет его к магазинам.

— Валя, зачем? Нет, нельзя, денег нет.

Я не говорил о Москве.

Я говорю о центре.

В Замоскворечьи сады с палисадами, пыль, и птицы, и звон церквей, и, в мезонинах, чистые бутончики первой зелени, и, даже, плакат там «Водки и Вина Смирнова» благообразен как старик—церковный служка, не смотря на свое постоянное тихое пьянство.

А о центре нельзя сказать, разве что пьяному...

Все тут в камнях, в пыли, кармине. И камни пахнут жасмином. И, может быть, даже камни подмазаны.

И будто камням привита лихорадка.

А люди заразились от камня.

Бег толпы, треск искры трамвайной, и даже встречная сигара . . . они останавливают.

И за сигарным дымом плачет голос.

— Подайте милостыньку, хушь пять тыщ . . .

И вывески желтые с черными полосами — «Американская обувь Вэра».

— Петенька.

— Нет, нам это польза.

Город играет на счастье, хрустят карты, может быть хрустят и не карты . . .

Но легки и веселы экипажи, а за экипажем вдогонку задорные босые ноги с жасминами.

— Кули-ите.

У города, потому что здесь город, где не работают, а живут, — слов нет.

Здесь играет оркестр.

И отдельных событий нет.

А событие — инструмент в оркестре.

Здесь — оркестр событий.

— Но почему, Петечка, нельзя?

— Нельзя. Не надо.

И Фирсов маленький, меньше комара в лесу.

Женщине здесь надо держаться прямо.

Потому что, ведь, она не просто идет, а она — отражается в зеркальных витринах.

Об этом они помнят.

Довольно о городе, о воздухе, о панелях — как проститутки.

Теперь я понимаю, почему здесь любят жасмины.

И воздух прян — и пьяный, как проститутки в спальне, где на полу окурки и чужие сапоги.

— Петя, я совсем пьяненькая... и крохотная.

— Ты — девчонка.

— И я всего, всего хочу...

— Перестань.

Фирсов сердито стиснул руку Вале.

Так он брал лошадей под уздечку.

— Когда я была подросточком, когда мамочка была жива и папочка, папочка из конторы придет пьяненький, спит, а я знаешь, как воткнуь в роман, так до четырех, пяти ночи. Думает мамочка, будто я зашмаюсь, среди ночи вдруг проснется, гляжу тащитя с тарелкой... Валичка, говорит, милая, вот снеточков покушай. А я ей фырк-фырк, фапаберни много... Уйдет мамочка, ничего не скажет. Шевелится. Гляжу, опять тащит — ну яичка, Валичка, с маслицем... а то устала, покушай... Из последнего, бывало, все мне.

— Господи, если бы теперь мамочку... и снеточков. Какая я была скверная... мамочку не понимала.

— А теперь?

— Я и теперь, Петенька, скверная. И снетков я не хочу, а хочу я...

— Не надо...

Кончил Фирсов, и Валентина Петровна засмеялась.

Тут пришел человек, сказавший очень ломано, потому что он не хотел говорить правильно, потому что, если бы он сказал правильно, то он был бы не представитель Ара мистер Герберт Кист.

Очень хороший и очень плотный человек, он — в кафэ Риваль сумел сказать Валентине Петровне, что он все может.

Сцена была такая.

Кафэ Риваль.

Два соседних столика.

За одним, уставленным салатниками и черной, как деготь, бутылкой английской мадеры — м-р Г. Кист.

М-р Г. Кист завтракает.

Не мешайте.

И лакей тут. И нет лакея.

Он здесь — но, ей-Богу, его совсем нет.

Вот, вот он подошел, он принес, он спросил, — но он тут же стер себя резиночкой, так чирк — чирк — чирк . . .

Вот вода.

Вот меняются бокалы.

И он уже наполнился, этот неизвестный бокал с шабли.

Сам наполнился.

Есть лакей и нет лакея.

Еще м-р Кист не вынул трубки. Но лакей знает, что в правом нижнем жилетном кармане, в замшевом футляре, уже готовая набитая трубка, и что сейчас короткие, волосатые пальцы, где на одном толстая, как пуд, платина, — вынут трубку.

И только дотронулся м-р Герберт Кист до футляра, как ему уж подают огонь.

И поднос сразу, точно механический, забирает посуду и остатки со стола — и летит, куда-то, с барышней, из рук в руки.

И новая крахмальная скатерть, хрустнув, сменит старую так, что вы даже не заметите — **какая крышка** у столика.

А на ней сразу вырастает ваза с виноградом и чашка

мокка с розовой и узкой, как дамский пальчик пахучей рюмочкой.

М-р Герберт Кист — не курит.

Нет. М-р Кист наполняет кафэ кольцами аромата.

И, сквозь кольца, на него внимательно смотрят несколько пар преданных собачьих глаз, готовых предупредить каждую минуту м-ра Киста.

Ему очень удобно, под удобным американским пиджаком, мягкая рубашка из хаки, слегка наплюенная и пестрый галстук.

За соседним столиком - Фирсов и Валя. Там уже обедают.

Обед подан небрежно, на двоих, из трех блюд — сразу шесть тарелок.

И, стараясь поймать ложкой по дну тарелки *первое* — суп, они заранее могут созерцать и наслаждаться *вторым* и *третьим*.

Тут точно, по меню, подсчитана стоимость обеда.

И точно до рубля, отложены заранее 10% лаксю.

Здесь только одно не предугадано, как за эти 10% мигнет лакей левой бровью . . .

Только левой бровью . . .

Люди так обедающие обыкновенно торопятся и молчат.

О, м-р Герберт Кист будет обедать совершенно иначе!

Обедать, конечно, он будет у консула, с цветами, с подбором вин, с дамами, с разговором.

А вечером — тут м-р Кист свертывает широкие губы, как салфетку и улыбается . . .

О, он еще не знает, что будет вечером . . .

И широкие губы, опять как салфетка, разворачиваются.

Те же, кто отсчитали уже 10 %, стучит.



Но разве можно стучать и торопиться, когда глядит на них сам м-р Герберт Кист.

Они опять стучат. Но лакей не слышит.

Лакей угадывает м-ра Киста.

И хоть у лакея нет лица, но он получит может быть сегодня, как лицо.

М-р Кист начинает говорить.

С чашечкой мокка очень приятно говорить.

Тише — он спрашивает, улыбаясь, Фирсова.

— Офицер? . . .

И Фирсов говорит ему: — да . . .

Потому, что не может же молчать здесь Фирсов.

И м-р Кист.

— Плохо. Жена?

Тогда Фирсов думает, глядя на эти веселые, вкусно позавтракавшие губы и добрый довольный нос, — что в сущности это, наверно, очень славный парень.

И Фирсов, тоже улыбаясь, говорит.

— Да, плохо. Жена.

Здесь можно улыбнуться и Валентине Петровне.

Впрочем, она это делает без всяких разрешений.

М-р Кист нескладно, поднявшись и разбив при этом рюмку, чего он не заметил, так-как лакей в секунду подчистил все как резиной, — подходит к соседнему столу и протягивает в бок руку и сразу попадает к спинке стула, потому что стул сзади вежливо уже подхватчен самым метр-д-отелем, понявшим движение м-ра Киста.

М-р Кист, кивая, говорит:

— Могу. Герберт Кист. Ара.

И, не дожидаясь, ответа, садится.

И говорит.

О, м-р Кист, представитель Ара, но может быть, он

и не представитель Ара (тут показывается немножко очень старое, 15 лет тому назад, когда Гирша Кистович помогал на варшавской бирже польским банкирам), Советская Россия прекрасная страна, но из денег прекраснее всего доллар, — с рублями, кронами, марками можно делать восторженные комбинации, это величайшее искусство . . .

Конечно, ни слова об этом он не говорит с Фирсовым.

Но это и не надо говорить.

М-р Кист мигнул — и на столе в салфетке коньяк.

М-р Кист только рассказывает о своем маршруте. Ведь завтра он уезжает из Москвы. 20.30 из Москвы, 11.20 следующего дня Петербург, через двое суток Штеттин, там Лондон, из Лондона — в Бостон, из Бостона за канадской кукурузой, оттуда в Нью-Йорк, и воздушный перелет на Москву.

Собственно, может быть, это мелькает совсем не м-р Кист, а фильма. Или нет, это — доллар, крепкий, как пирамида, на мировой бирже.

— О, русскому офицеру полезно знать заграница . . .

И за это с совершенно нескрываемой радостью, схватывается Фирсов. И Валентина Петровна только удивляется, когда Фирсов заявляет, что он здесь, в России покинет много тяжелого, что он хочет совершенно другое, совершенно новое, все равно где, хотя бы в прерии . . . что он с радостью бы бросил на границе тяжелый российский груз и заделался бы простым американским солдатом.

— Вы будете капитан . . .

И губы м-ра Киста завязываются вроде салфетки.

Фирсов растопыривает ладони.

Стучит ими по столу, точно копытами.

Прерия, вы это понимаете м-р Кист... Еще что. Змеи. Мустанги . . . Стадо . . . Совершенно дикое. Еще что.

Он ловит руками.

И в глазах у него крупные, как зерна, слезы.

— Как вы думаете, м-р Кист, надо человеку счастье?

М-р Кист, в дыме из трубки, в уверенном, синем облаке точно бог.

— О . . . человек требует много счастья.

И подливает Фирсову коньяк.

Фирсов пьет.

Огонь, дым, зеркала, и электричество в зеркалах, и коньяк.

Фирсову смешно и странно.

И горло жжет дым, будто с сухих болот.

— Где же . . . дайте мне смысл. Ну, хорошо, прерия. простой американский солдат, кампи, змеи. Все понятно. Но ведь прерий поди нет, и змей нет. У вас наверно в степях асфальт, а тут . . .

И он наклонился, может быть, страшно пьяный, может быть, совсем трезвый (лакей, что следил, не мог разобрать) — наклонился вплотную к щеке м-ра Киста.

— Эрэсефесер... Я честный. Я могу убивать, когда прикажут... да... вы понимаете. Я солдат. Я чай могу пить со свеклой и жрать селедку. А вы приходите с коньяком, вы в прерии финиш-шампанем мустангов напоите... Разве это честно? Я вас спрашиваю . . .

И он опять стукнул ладонями, как копытами.

М-р Кист бровью сказал лакею.

Но когда лакей хотел снять со стола бутылку, Фирсов протянул руку, как король из оперы.

И лакей отскочил.

— Не позволю.

Фирсов говорил, медленно наливая в стакан.

— Эресефесер . . . Понимаете? Ни черта. И я не понимаю. Может, никто не понимает . . . вот ужасно.

И он снова наклонился к м-ру Кисту, облавая его теплом мягких больших губ.

— И не надо . . . Это парочно, чтобы вы нам поницами пальцы не отстригли, как купончики . . . Табачные карточки знаете? Тоже не знаете? Тоже парочно. Эх, вы . . .

И Фирсов засмеялся. И когда смеялся, в уголках губ кучей, что мошки, вились ядовитые слова.

Но он их не сказал.

— Не поймете, нет-с . . . У вас на асфальте, пшеница растет, а мы не боимся. Согнуть хотите, не поймать . . . Вот она степь, снега, волка не догоните . . .

И он оглянулся — кругом стояли лакеи, готовые по знаку м-ра Киста, его вывести.

Он опять оглянулся, как зверь взятый в облаву, и пошел, покорно перебирая большими сильными лапами, через сухой залом.

— Дай, Валя, руку. Не тревожьтесь м-р Кист. Я устал. Душонка у меня паршивая. Не выдерживает.

После этого, в 12 ночи, назначается свиданье в ресторане Диана.

А на следующий день Валентина Петровна исчезла, прислав с посыльным записку.

«Уехала с Кистом. Петушок не сердись, больше писать некогда. Машина ждет.»

Фирсов не удивился.

Он крепче сжал скулы. Они тверже коньего мосола.

Ему казалось, что у американца он понюхал новый Запад.

И, сев в вагон, чтобы ехать обратно — заметил: Россия.

Т. е. — Россия для него.

Какая же для него Россия?

Зеленый вагон, внутри деревянный и желтый.

Но плакатный.

И крайнее отделение — на двоих.

— Это очень удобно, прямо замечательно . . .

Там на верхней полке вертится маленький блондин (лица он не успел заметить, но обыкновенное, без примет).

Это бормочет блондин.

При входе, он представился: — доктор Кипятков.

Устроив полку для сна, Кипятков прыгнул вниз и попросил:

— Разрешите? . . .

— Садитесь, садитесь.

Кипятков обтер платком потную шею.

Тут Фирсов заметил, что за воротничком кителя, доктор носит вместо прежнего военного галстука черный бинт-крышку.

Поговорили о службе, о политике.

И доктор, потом спохватившись, спросил Фирсова.

— Вы не партийный?

В вагоне стали открывать окна.

Пошли сквозняки.

И каждая сторона другой приказывала закрыть окна («Полагается только на одной стороне»).

Позвали проводника.

А когда проводник ничего не мог сделать — кричала баба.

— Им бы только удовольствие иметь. На-ка, выкуси, теперь пассажиру слобода, денежки плаченные . . . Им бы ищо дать, туточка не сквозняк, а фокус. На-ка . . хапали. Мало вас стреляют.

Вытянув кукиши — короткий и толстый, что пенек, она захлебнулась смехом.

И в вагоне запахло бабой — молодой и радостной, что еще не иссохла ребятами и работой:

Наконец, занявшись едой, все успокоились.

И поехали дальше со сквозняками.

Доктор, между бутербродами, рассказывал о Высшей Артиллерийской Школе, где он работал врачом.

— Придет, понимаете, парень — краском, говорю ему — вам надо в лазарет, по состоянию вашего здоровья. А он просит, уж нельзя ли, просит, как-нибудь так, доктор, а то я уроки пропущу. Понимаете — уроки пропущу. Беда, и это систематически. Вот какая необыкновенная жажда. С таким-то народом погодите еще . . . Или смотришь жара, не передохнуть? А он, сукин сын, верзила-верзилой лежит под кустом с книжкой и долбит себе, долбит . . . Да, ведь, дорогой мой, мы с вами эту муштру проходили с детства, длинная гимнастика, а ведь он глотает взрослым парнем. Эт-то-с молодая Россия.

Потом заговорили о себе.

И Фирсов сказал, что у него убежала жена.

Тогда доктор вздохнул и, смолчав, полез на верхнее.

## 19. Рапорт.

Очень длинный и тягучий, что резина, день.

Военспец П. Фирсов сидит дома, за шторами.

К шторам приходит солнце — вымазав их в розовое.  
Там же блекнет.

И от них же уходит.

Все это — закон свершенный.

И никому не уйти от солнечного круга.

Утром выпивается пиво.

Днем тоже пиво.

И вечером.

Все.

Это — тоже закон.

А мысли сгущаются в комнате, как угар. Чтобы тяжелее давить. Чтобы в ушах застучали барабанные перепонки.

Может быть за шторой ночь.

Или городок Л., где на всех пяти трактах одна и та же пугливая и сырая луна, а в городе афиша «Алор» еще желтее и еще сырее луны.

Он летает — угарный, преображенный.

Фирсову кажется, что сегодня он сойдет с ума.

Привычка все та же — лежа на тахте: курить, молчать, думать.

Эти мысли узки, длинны и нескончаемы, точно бинт.

Вот, обмотался весь.

И размотаться не можешь.

И перед фотографической карточкой — Валентины Петровны — только здесь, у туалетного столика, пропахшего женскими прихотями — вдруг застонешь.

Лучше было бы — встать на четвереньки и, сразу обросши шерстью, выскочить на дорогу. И воем огреть — как жгутом — дорогу, поле, лес.

От воя сожмутся травы.

И лошади в табунах собьются кучей, наострив об-

щее табунье ухо, и будут слушать, замирая — пока не лопнет сильное конское сердце.

И в лесу притихнут ночные совы.

Одной луне не спрятаться с неба — вся она, как на блюдечке.

Ее можно слизнуть языком.

Пугливая, она закричит тучам.

Но ведь тучи пробегают мимо — как ветер.

У туч — свое дело. Не остановятся.

И еще громче закричит луна, и забьется в истерике, обливаясь сырым голубеющим потом.

Ужас — это седой зверь, страшный, как землетрясение, потому что он рвет в клочья, и жрет, и топит.

Фирсов встал с тахты.

И поднял оконную штору.

Та взвилась с шорохами — точно театральный занавес.

Первое — это тени и тьма.

А над ними — пад этой, в тьме, землей — обычная ее покрывка.

Зовут небом.

И там живут боги.

Фирсов засмеялся.

И кричал в теплое летнее стекло.

— Стерва. Стерва. Я то герой, я, может, еще понадоблюсь...

Если эту покрывку дернуть каблуком, она хрустнет нежнее хрустального блюда и обрушится с треском, открыв пустоту.

И, даже, негде будет руками пошарить.

Люди неизвестны, как камни.

И тот, кто не может ночами спать, пугается ночи.



Потому, что приходит к нему его душа, но такая же темная и непостижимая и бессловесная.

Но разве уйдешь от себя?

Разве себя прогонишь?

— Я имел право.

Так провел Фирсов три ночи, после обратного приезда в Л.

Днем он ходил на огороды бабки Лепатихи—к Мотьке.

Девки опять копорили.

Земля лежала там весело, аккуратно — собранная в гряды.

Ругались над огородом, точно старые мужики, грачи.

Фирсов, на краю огорода, у колодца, долго о чем то расспрашивал Мотьку.

И она — это видела бабка Лепатиха — несколько раз утиралась стыдливо локтем.

О чем говорил — неизвестно.

А на четвертую ночь Фирсов сел и написал рапорт.

И по ночному голому двору дивизиона прошел к флигелю комиссара Лепукална.

Деревянная лестница скрипела под ногами визгливее пилы.

Сверху, от двери, молча поднялась косматая дивизионная Ара.

— Это я, Ара ... это я...

Ара зевнула, щелкнув ртом.

И, собрав хвост, устало посмотрела на Фирсова.

Фирсов вошел.

За столом, уронив голову на спинку жесткого старомодного кресла, всхрапывал Лепукална.

На столе валялась початая сотня папирос и коробка с мелкими, обсыпанными сахаром, бомбошками.

Газета же лежала у него на животе, вместо одеда.  
— Умаялся.

Подумал Фирсов.

И даже не захотел сперва будить.

Но Лепукалн спал и тяжело и неудобно.

Так спят в садке рыбы — большие, измученные теснотой.

И Фирсов крикнул.

— Товарищ Лепукалн.

Лепукалн вздрогнул, уронив с живота газету.

И, увидав Фирсова, недовольно спросил.

— Вы зачем?

Но сейчас же вспомнив, что у того убежала Валентина Петровна, и, испугавшись, как бы он чего не выкинул, участливо усадил.

— Все, дорогой мой, пустяки. Оставайтесь у меня ночевать. Не ходите домой... Все бабы — сволочь. И любви нет. Просто физиологический акт, честное слово. Ну их...

— Нет...

— Вот, вот... конечно нет...

— Нет, я говорю, что я по делу. Вы простите, час неурочный, а я по делу.

— Да, да я слушаю...

— Я не мог дожидаться утра. Вот рапорт.

Комиссар прочел:

Военкому 3 Арtdивизиона.

Ком. батар. 3

П. Фирсова.

Рапорт.

Сим доношу, что это я отравил тов. Ф. Климовича, обманным путем передав ему яд. Я имел право.

Заявляя об этом я не надеюсь ни на какое наказание, п. ч. вся строгость законов Республики, вплоть до расстрела, меня не касается.

Прошу провести это приказом.

П. Фирсов.

23 Июня 1922 г.

Лепукалн бросил бумажку.

И, обняв за плечи Фирсова, с опасением взглянул ему в глаза.

— Ай-яй-яй. Ну, ну, ничего, ложитесь. Я вас не отпущу.

Фирсов повиновался.

Эту ночь с комиссаром Лепукалном он спал совсем спокойно.

А утром даже смеялся, когда комиссар спрашивал — лучше ли ему...

Но вечером опять пришел и подал новый рапорт.

Военному 3 Артдивизиона

т. Лепукалну.

Ком. батар. 3

П. Фирсова.

Рапорт.

Сим подтверждаю сказанное мною в рапорте от 23 с. июня и настаиваю на приказе. В противном случае доложу по команде.

П. Фирсов.

Через день Фирсова арестовали.

Он потребовал следователя. И проговорил с ним несколько часов.

## 20. К делу П. Фирсова.

Подшито к синей папке следующее:

Пакет П. Фирсова.

Рапорт (зачеркнуто).

Мои записки (зачеркнуто).

И сверху жирно:

*Послать по радио всем интернационалистам от поруч. Фирсова.*

(«Поручика» зачеркнуто и сверху вставлено — «артиллериста».)

*Текст:*

Я не философ, и на жизнь смотрю очень просто. А бедность моей мысли и моей фантазии подчас самого меня приводит в невыразимое отчаяние. Я чувствую здесь, в тюрьме, как в голове моей заскреблись мысли, точно мыши, но ни одну из них я не могу поймать; чуть тронешь — а уж они все разбегаются. Уверен, что, попади этот листок наблюдающим за мной доктору и следователю, они сейчас сморщат брови и эту мою метафору примут, как физическое ощущение моего, якобы «больного» мозга. Вот вам еще одно лишнее доказательство относительно чистоты работы нашей психиатрии; простите, я пишу это не для жалобы, т. е. жалобе моей, конечно, можно не верить, а так из глупости, т. е. я хочу убедить вас в том, в чем не только я убежден, — это подавно, — а в том, что я сделал вот этими своими, фирсовскими руками, именно — преступление совершил я.

Кто же я?

Я — живой организм, научившийся ходить, есть, убивать, вступать в сношения с женщинами. Я — мешок, наполненный костями, мускулами и жилами, приспособившийся к условиям той природы и того быта, которые его окружали. Но напрасно было бы думать, что этот организм в функциях своих почти ограниченный физиологией, не испытывает никакой тяги, не ищет вылета из своего мешка. Правда, эти попытки редко кончаются удачно, но ведь и Икар пленился в море вместо того, чтобы попасть на солнце, — отчего же и поручику Фирсову не посидеть в луже? Вам известно, что меня связывала с Климовичем долгая и тесная дружба. Эти годы школы, университета, войны, — пролетели, как дым, и жить бок - о - бок друг с другом стало для нас не только привычкой, но необходимостью, часто нас тяготившею, как тяготит двух рабов галера, к которой они прикованы и когда один опускает правое весло в воду, другой обязательно поднимает из воды левое. Рабы не смотрят друг на друга, молчат, но раскуют их и выпустите из галеры на землю, они упадут друг другу в объятия, или убьют друг друга. Это я понял только здесь, в тюрьме. Что касается нас, то нечто похожее соединяло меня с Климовичем, мы даже стали меньше разговаривать друг с другом, больше молчать, но это не избавляло нас от соседства, мы понимали друг друга по жестам. Однажды вечером, Климович проговорился мне о любви, но, с тех пор, как - то замолк, часто виделся с ней, но со мной об этом не разговаривал, и отсюда разыгралась во мне ревность матери, очень скупой правда, очень сухой, матери - мужчины, если можно так выразиться. Это было очень ненормально и желчно и, еще хуже, то, что

ни одним словом я не мог об этом с ним перемолвиться, т. к. мне первому стало бы стыдно. Мне пришлось примириться с мыслью, что для Климовича опять наступил этот период угара и приключений с женщиной, но тут я стал бояться, что теперь то он от меня уйдет, что здесь будет кончена его длинная победная эпопея, которой втайне я частенько завидовал. Я — человек большой и здоровый, как зверь, был очень первобытен с женщинами, и не мог понять о чем Климович с ними делился часами, и почему они к нему лезли, как мышь в патентованную английскую мышеловку. Валентину же Петровну я представлял себе вполне ясно, как девушку, которую война и революция забросила за борт испорченную и глупую. Т. е. как все, и, пожалуй, как всегда. Только 20 лет тому назад они боялись абортон и на горе родителей рожали, нынче же все обстоит организованнее. Эти мои предположения вполне подтвердились при первом же с нею свидании; но вот, отдавшись мне, она стала явнее мне и с других сторон. Я уже не просто осудил, я пригляделся, быть может здесь сказалась моя зрелость, быть может то, что мне льстила эта не ловкая и не совсем удобная победа над предполагаемой любовницей моего приятеля и, может быть, кандидаткой в жены ему. Что здесь было — злость ли, мужское щегольство, или случай от скуки, я до сих пор понять не могу. Она была ласкова — эта то ласка ее и сгубила. Правда, она не была девушкой, но в наше время девическая невинность простая случайность, и вот, влюбленная в него, и как-то глупо и неожиданно отдавшись мне, она сразу раскололась. Но для женщины, для ее немудрой простой жизни, всегда ближе, все-таки, тот, с кем она физически связана. Эта связь может быть цепью и цепью тяжелой, даже и потому

освободиться от нее не так то легко. О нашей связи я ничего Климовичу не говорил, она также, и вообще этот первый фазис был очень странный. Тогда я совсем не дорожил Валентиной и каждую минуту мог совсем от нее отказаться, и то, что мы совместно гуляли и по очереди бывали у нее, ничуть меня не смущало. А она волновалась — это я чувствовал смутно, но это мне нравилось. мне льстило, и в ней я очень это ценил. Здесь она была права, а мы мерзавцы, мы мучили ее. И только со стороны могло казаться, что она играет с нами. Тут я узнал, что Климович — импотент. Она рассказала мне об одной поездке, когда он не смог овладеть ею, а эти непрекращающиеся, все-таки, визиты, но без близости, бывшей доселе в привычке у Климовича, меня убедили в этом. Тут стал волноваться и я, но — как проверить? — говорить с ним об этом было нельзя, он сейчас же бы взвился. Правда, он был гол и наг, у него все было прожито, но он не хотел в этом сознаться и падал между нами, как тяжелое бревно. Вспомните хотя бы эту отвратительную сцену на балу в Тряпкинском трактире, все считают виновной Валентину, когда виноват был он. Он не смог ей дать ничего, но был назойлив и требователен, как комар. А она боялась, что, оттолкнув его решительно и грубо, она, тем самым, толкнет его в землю, к тому же, это неожиданное в городишке самоубийство всех перепугало. После этой отвратительной сцены я решил: он жить не должен...

Позволить себе убийство. Далось мне это очень легко, я не думал об этом, все шло по прежнему — служба в дивизионе и сон, Климович изводился; тут я открыто стал над ним поддемоняться и, наконец,

довел его до игры в эту упрощенную до минимума кукушку: Конечно, когда вертели мы с ним, точно пьяные, револьверный барабан, я рисковал не меньше, чем он. Вот тогда, может быть, я действительно сошел с ума, я помню — я пытался прекратить, я опомнился, но он настаивал, и барабан опять завертелся. Это упорство его, настойчивость в том, чтобы я совместно мучился с ним около Валентины, ожесточила меня, может быть тут же я бы прихлопнул его, не знаю как, у меня завертелась голова, как снаряд при полете. и, слава Богу, арест охладил мой пыл. Там я и придумал.

Расчет был правилен.

Атмосфера в городке была напряженная. И теперь при каких бы обстоятельствах Климович ни покончил. всем было бы очевидно, что это самоубийство. Утром того же дня, когда нас освободили, я дома передал ему порошок, сказав, что это то и есть мое замечательное возбуждающее средство, а он, представьте, взял... Вот доказательство, вы конечно не верите... Но он взял, потому что он импотент. Он от меня взял порошок. Это я решил. И я даже забыл, совсем забыл об этом. И вот, когда вспоминал, отлично помню, что это он взял... Больше некому было взять... Это же совершенно очевидно. Не я же ведь отравился. Впрочем, простите, тут я спутался с логикой. Но это не важно, интересен лишь факт. Но это был циник еще с румынского фронта, из полковой аптечки. Было у меня только одно спасение, что мне придется долго дожидаться. Но я решил не форсировать событий, не торопиться. Так или иначе, порошок был бы принят, характер Климовича и страсть его к связям были мною учтены правильно. Безопасность моя совер-



шенно обеспечена. Я решил ждать. Судьбе было угодно, чтобы это случилось следующей же ночью, когда после этого дурацкого розыгрыша, он полетел на огороды к Лепатихе.

Остальное вы знаете.

Я не жалел о случившемся, не испытывал никаких угрызений, правда, в первое время, когда холостые привычки пришлось заменять семейными, многое показалось мне чуждым и чуждым, и думалось, что из за этого не стоило огород городить, но знаете — домом обрастаешь также незаметно, как бородой, и, если долго не бриться и не смотреть в зеркало, то привыкнешь и к бороде. А я устал от геройства и теперь у меня все-таки чувствовалась какая-то твердость, какой-то свой угол, а вот именно-то поэтому, по этим меленкам и старым пузырькам, мы — походные люди (с чемоданом подмышкой) и изголодались. Ах, если бы не было поездки в Москву...

Я не виню Валю. Ласковее, женственнее, прямее я не встречал ни одной женщины. Она была резка и вульгарна, но это знак времени и нечего тут взыскивать строго, а сами-то мы кто. Если бы она знала, что сделал я... Ведь я, обнимая ее после, и не задумался над этим. Смерть Климовича, вернее убийство. — для меня было будто насморком. Я даже не спросил Валю об этом. У нас был брак — т. е. совместная жизнь в одной спальне и сожительство. Она дала мне уют, т. е. то, чего у меня не было, и что создала она. А я ничего. Я был только мужчина, каким мог быть один, другой, третий, пятый. Да еще добывший ее таким путем. Интересно, что сделала бы она, если бы узнала об этом в то время. Она была жадна, и этот городской бред опьянил ее, она, несчастная, побежала

за ним. Я не мог угадать, что с ней будет; может быть, она иссохнет и сойдет с ума на десятом, двадцатом аборте, а, может быть, сделается берлинской проституткой.

И в том, и в другом случае, ее бы следовало пожалеть и спасти.

Но когда ушла она, ведь с нею вместе исчезла и моя цель. Тут же я понял, что весь этот ужас мог пройти даже тогда, если она не ушла бы, но это гадательно и об этом не стоит говорить. Я растерялся, я не мог сообразить, что мне сейчас делать, и я мучительно и бестолково думал, в эти минуты я ненавидел Валю, это она принесла мне этот крест, нынче я простил ее. Тогда я решил открыться властям. Здесь меня осенило. Моментально осенило, что я прав. Я имею право, я семь лет герой.

И вот нынче я сумасшедший.

Я знаю, не убеги от меня Валя, может быть, на все дело взглянули бы иначе, но я перехитрил самого себя: как тогда было вполне понятно каждому и закономерно «самоубийство» Климовича, то и сейчас также после бегства Вали, каждому сделалось очевидно мое «сумасшествие». Эх, если бы это было годиком пораньше и на фронте, тогда со мной не стали бы так рассуждать, как в Л... Словом, у меня не было ни одного доказательства, а после всего пережитого, после этой борьбы за Валю и «самоубийства моего лучшего друга» — так естественно было для всех, — что, с ее уходом, моя «бедная голова» — так говорили они, обратилась к воспоминаниям о смерти друга, с которым я по выражению следователя «соперничал», и в «самоубийстве» которого, по его убеждению, я повинен: отсюда, до

возникновения представления, что именно я отравил его, только шаг. Так я создал, по их мнению, легенду. И, право, я уж сам стал сомневаться, как тот старый кот у Леонида Андреева, которого всю жизнь били, а потом приласкали, и он обалдел от неожиданности. И с той поры, хоть его и бьют, а он мурлычет.

Ко мне ходят и следователи, и доктора, но большей тупости, чем у них, я ни у кого не видел. Только теперь, здесь, в тюрьме, где вся глупость, весь вздор осели во мне, я чувствую — что я спокоен и силен. И буду терпелив, чтобы дожидаться конца. Расстрел мне совсем не страшен. Я уже прожил это. Вчера меня расстреливали. Дело было так. Ко мне подошел взвод, при взводе были 2 сотрудника особого отдела, когда взвод построили, я попросил сотрудников: «Нельзя ли без церемониала». Они мне сказали, что нет, нельзя, надо все по порядку. Я согласился. Тогда они приказали мне снимать вещи. Я закурил папироску и стал расшнуровывать ботинки. Скинул один ботинок. Смотрю сзади, за спиной, стоит сотрудник. Начал расшнуровывать второй, потухла папироска, только что стал ее раскуривать, вдруг в ухо хлопнул залп. Это в шею мне выстрелил сотрудник... И оказывается, что это совсем не смерть. Но вот чего я не понимаю — почему я опять жив. А я жив потому что могу думать, и мысль кленется прекрасно. Когда об этом случае я рассказал в нашей тюремной конторе, мне, конечно, никто не поверил, и все надо мной смеялись, и, даже, позвали доктора. Но у меня было очень скверное настроение и доктора я прогнал, тут же приехал следователь, когда я ему рассказал, он только улыбнулся и сказал — «Ну теперь с вами нечего возиться, дело ясное»... Я начал возражать — «Какое же ясное

когда...» Но он перебил меня «Исное, ясное» и ушел в соседнюю комнату. Но, Боже мой, я никогда еще так точно и отчетливо не думал, я хочу пойти из'ян и нигде его нет. У меня спрашивали доказательства. Я их нищу и я найду, я знаю, что я их найду. Если их не удовлетворяют слова, я им математически докажу, что я прав. Ведь кругом идиоты. Эти идиоты скверно говорят про Валю, но при чем тут Валя... Я люблю Валю, это верно, но я спокоен, я могу бесповаться, что нет ее и плакать могу, здесь они правы... Но я спокоен, я божественно спокоен. Я застыл, я скоро стану гордым памятником на огромной Красной Московской площади, я чувствую, как у меня течет вместо крови бронза. В руку воткнут мне маленький красный флаг, а на мраморном пьедестале напишут — б. поручику Фирсову 1914—1922. Правда, это будет очень красиво. Это будет очередная глупость. Я знаю Москву — там, около моего памятника, встанут в ряд лакеи и будут радоваться. Ничего нет, уверяю вас, ничего, только электрический цирк. И цирка тоже нет — обман. Скоро все обнаружится, очень скоро. Когда вспомню, мне делается страшно весело. Ведь никто не знает, что мы летим. А мы летим. Я пытался убеждать следователя, но он говорил все одно «ясно, да ясно». Оказывается, есть еще другое, о чем никто не знает... Я случайно об этом узнал, вчера меня навещала Ара. какая необычная, какая милая собака! Вы знаете, что она мне сказала? Сперва она приласкалась, положила морду на колени, а потом сказала очень грустно: -- «Ты, Фирсов, не бойся, они ищут твои табачные карточки. Не найдут, не бойся...» Да, я забыл сказать о Вале, они правы, они правы, это совершенно верно, но я все-таки божественно спокоен, потому что Валя

здесь ни при чем. Она просто пришла ко мне и также просто ушла. Это мне ясно. Не знаю ясно ли им — так самки ходят к самцам, когда начинается течка. Мне стало смешно. Ко мне приходит Ара, а к Серафиму Саровскому медведь ходил. Может быть, я даже мученик, а никто этого не понимает. Тут необычайнейший смысл. Ведь собака зря не придет. Ведь не придет же зря собака. Это же очевидно. Это же как дважды два. Впрочем, что такое дважды два? Я им скажу, а они потребуют доказательств. Я очень много плачу, я даже устал, нигде не могу найти. Надо будет попросить Ару, у собак острый нюх. У меня большой план: Ара будет искать формальные доказательства, а я разрешу эту задачу математическим путем. Я наконец захвачу батарею. Я докажу силой орудия. Эй, а-голь всей батареей... Пер-вая. В хвост бей.....

.....

.....

Дальше из тетради была вырвана  
десть — записки продолжались так:  
..... смерти, конечно, нет. Они меня боятся, потому что я точен и не понимаю их преступления. Теория моя, конечно, сильна. Я прав. Я не убивал. Т. е. я, может быть, и убил. Но в чем дело, господа, я привык. Да разве я не имею права убить крысу, попавшуюся в западню? Я знаю, что крыса вылезет из западни. Часа три будет фырчать, охать, вздыхать и все упорно, со стонами, с мукой, чтобы потом, все равно, подохнуть. Вот, прихожу я и топором перерубаю крысу пополам. Я страшно силен. Я чувствую, как у меня в желудке растут камни. Они этого боятся. Но теория моя сильна, я даже расстрел им не удался. Глупцы, вчера опять

смеялся следовательно, когда я сказал, что пришел к ним затем, чтобы доказать, что имею право, что все данные на то есть... Но они не хотят, они мне говорят вздор. Они хотят психологини, но я сам ничего не понимаю. Я просто ощутил, что надо... И рассказал, чтобы видели, но как я им могу объяснить, когда я солдат. Я жил дураком до 28 лет. Я сам не подозревал. И вот, теперь угадываю, что у меня есть дефект... логический дефект. Когда я его поймаю, они поймут. Но этот дефект бежит от меня, как от собаки хвост. И даже думаю, что у собак хвосты не зря, и сегодня просил Лепукална отрубить у Ары хвост. Там мы найдем. Это, кажется, называется животным магнетизмом. Если бы меня подольше учили... а то я хватаюсь за клочки. Впрочем, важна сущность. Скоро раз'яснение придет. Но вот, когда наступил дефект. Удивительно и прекрасно я себя чувствую — ум мой это, конечно, механизм. Это даже жалко, что вставили его мне здесь. И только теперь понял, в этих решетках, — какая огромнейшая свобода родилась, богов конечно нет. Бога я позабыл, но теперь уж я знаю, что ничего нет... Сегодня было представление, в тюрьме был лектор на тему «Царский тюремный режим и наши исправдомы». Я страшно смеялся, и меня силою увели. Мы имеем право, имеем право. Я семь лет имел право, никто не спрашивал. Дайте пожалуйста мандат, я вам докажу, что вы не смеете жить по прежнему. У всех нас огромнейшее право свободы. Ведь у истории новый ход, и уж Америка хочет отколоться, она хочет идти по своему: Англия уже откололась и летает самостоятельной планетой. России стыдно ждать... Мы должны лететь самостоятельно. Они только смеются и говорят: — «ясно, ясно...» Дураки.

## 21. Полет.

За день до отъезда в камеру пришел доктор Фаворский.

Пальто у доктора длинное, мохнатое, похожее на рысу.

Пришел, и палочку-посох прислонил к стенке.

— Навестить послали ... как живете.

Фирсов лениво поднялся с койки, лицо у него было затрепанное, слежавшееся, и отросшие волосы ползли клочками.

Фирсов был недоволен.

— Навестить? Кому это надо?

— Люди послали.

— Люди?

И Фирсов усмехнулся про себя, как всегда — не слышно, точно лошадь.

— Какие же люди? Я, что-то, не замечал.

— Знакомые.

— И знакомых нет. Разве еще есть люди ... Доктор ...

Фирсов упал на колени.

— ... вот вы смотрите на меня и думаете, не притворяйтесь, думаете, что я сошел с ума, ведь думаете? А я совсем ясный, как вода. И никто не хочет поверить, и не поверят, я знаю. И вы не верите, не притворяйтесь, я вижу, что не верите. Вот что ужасно. Никто никому не верит. Потеряли веру ... вот вся эта сволочь в городе, лавочники да маменьки, я им не удивляюсь, а вы — интеллигентный человек ... Впрочем, о чем я с вами ... Доказательство то я совсем потерял, нету знаете, совсем в мире доказательства нету ... Прими на веру ... и никаких ... а чтобы, как дважды

два — нету, да и дважды два нету. Придет вдруг математик, ну в Нидерландах допустим, и скажет — дважды два семь... И докажет, а вы не поверите. А когда придет другой, примерно лет через сто из Испании, и докажет, что дважды два семь... Вот земля то может быть не так вертится, не по той линии... Совсем, представьте, не по той... И не шар уж теперь, а яйцо... Врут, совсем не яйцо... это нынче наукой доказано... и женщины врут, женщины постоянно врут. А верить надо. Надо, доктор, верить. Вы прожитой человек, вы конченный человек, вы веры не имеете...

Шептал Фирсов в бороду доктора.

— ... вы очень скоро застрелитесь, ведь это очень важно, доктор...

Фирсов взволновался и что-то показывал доктору на пальцах.

— ... ведь, пока мы так разговариваем, там...

Он махнул рукой в пространство.

— ...там уже доказали, что дважды два — пять. Слышите?

Доктор сдунул пыль с бороды (день был пыльный, летний) и сказал неторопливо.

— Дважды два равно четыре.

— Ах, четыре ... четыре ...

Захлебываясь от радости, Фирсов увлекался.

— Надо доказать, будьте добры доказать.

— Два раза по два.

— Ну и значит — четыре. А вдруг ошибка. Вот жизнь прожили — оказалось вдруг ошибка, вы не сознаетесь. Нет, вы, конечно, не сознаетесь, вы нарочно не сознаетесь. Женщину полюбил — а она вдруг проституткой станет, и вы не сознаетесь. Вы ведь, доро-



гой мой, вы только одно поймите, вы разве не слышали... Как же, как же, об этом в немецких газетах писали. Замечательное открытие, у нас в степи еще никто не знает, замечательное... Мы все летим — туда...

Фирсов выкинул рукой вверх.

И не шептал, а дул доктору в ухо.

— Астрономическое явление. ... Планета земля с пути сбилась и летит прямо неизвестно куда. Что? И Доброхотов уже там. Он уже прилетел...

— Куда?

Спросил неторопливо доктор.

— Направление неизвестно...

Фирсов очень взволновался. Дернул плечами.

— Направление неизвестно, но у меня есть чертежи. Оказывается линия полета земли совпадает с линией полета снаряда... вот вылетели мы давно, очень уже давно из точки А... со скоростью... Я все это теперь сообразил, я молчал, сколько лет молчу, и все в городе давно молчат, — а мы уже летели... если принять за скорость силу равную...

Тут Фирсов объяснял очень долго.

И при этом беспрестанно лазил в карманы, будто вытаскивая оттуда скорости, тяготения, системы тел...

А, когда кончил, упал на койку.

— ... но точки Б не найти, не найти. И Доброхотов притворяется, он еще не там, он ошибся — это не точка Б, а промежуточная задержка, основанная на притяжении луной, напрасно верят его радио... Мы летим, чорт знает куда... Вы, разве, не слышите? Вечный шум. Вы думаете — ветер, ветреный год, нет, это шум от полета... Летим.

## 22. Дождь.

Через полторы недели Фирсова отправляли в губернский город, в психиатрическую больницу.

День был мокрый, и дороги раскисли в тесто.

Дома поджались, как собаки, чтобы не замочить хвост.

Когда Фирсова усаживали в тележку, проводить его пришел только один старик Ютанов.

Сегодня он не кричал, но, поцеловавшись с Фирсовым, все-таки, не утерпел, чтобы не попрекнуть.

— Я — жа давно говорил, что она вибрион, видишь. Ее бы давно убить надо.

А на сердце у Фирсова печально.

Дороги мокрые.

А были дороги по юнню сухие и пыльные.

Печаль же нужна сердцу, как роса траве на пыльной дороге.

Фирсов улыбнулся.

— Нет, дедушка.

Старик рассердился.

— Нет, нет... Вам юбченка требуется, я знаю.

Возок тронулся, и Фирсов сказал Артюшке.

— Ты, смотри, с дороги не сбейся...

А дивизионный конюх, гикнул лошадям.

— Эх, се-волачи... Будьте благонадежны.

Квартальный Фонариков, зашлепанный по пояс грязью, возвращался с погоста Ионы на Буграх.

Там сегодня хоронили одну из девушек.

Подруги шептались, что погубила ее акушерка Зайченко, но говорить громко боялись.

Все девушки еще были на кладбище.

И сердце у каждой — как кошка.

То есть: и нежится, и тоскует.

Встретившись с возком, квартальный Фонариков спросил Артюшку.

— Повезли?

Но Артюшка, не отвечая, дернул плечом, что верстой, и выругал лошадей:

За шлагбаумом Фирсов вдруг забеспокоился.

— Пакет забыл с карточками ... вдруг потребуют.

Артюшка остановился.

— С каким карточкам?

— С табачными...

— С табачным...

Артюшка подумал, потом вытянул кнут из голенища...

— Не обязательно. И — эх.

И хлестнул по сырым лошадям.

Лошади взяли возок дружно.

В степи дождем приняло к земле рожь.

Скоро мокрая спина Фирсова скрылась в дожде.

## 23. Последняя.

Эту повесть, и письма, и документы — хотел я скрыть.

Но их правда сурова, смешна и печальна.

И не знаю тишины столетних фисгармоний и торжественных нужных псалмов.

Я — русский...

Вою, как волк, и жду сугробов.

Снег будет. —

---



## ОГЛАВЛЕНИЕ:

---

1. Я люблю Валентину . . . . .	7
2. Началось . . . . .	11
3. Ночью . . . . .	17
4. Совхоз «Кривой Кочеток» . . . . .	21
5. Плисовый рай . . . . .	25
6. Квартальный Фонариков . . . . .	30
7. А. В. Доброхотов . . . . .	33
8. Документы А. В. Доброхотова . . . . .	38
9. Трактир купца Тряпкина . . . . .	46
10. На иголках . . . . .	53
11. Ночное . . . . .	56
12. Иней . . . . .	59
13. Игра . . . . .	60
14. Розыгрыш . . . . .	66
15. Мотья . . . . .	70
16. Алыи гроб . . . . .	74
17. После . . . . .	79
18. Москва, представитель АРА и молодая Россия д-ра Киняткова . . . . .	83
19. Рапорт . . . . .	94
20. К делу П. Фирсова . . . . .	100
21. Полет . . . . .	111
22. Дождь . . . . .	114
23. Последняя . . . . .	115

---

# ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“

Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 37

## СТИХИ

АННА АХМАТОВА

Четки . . . . .	совместно с издат. Алконост	{	1.50
Белая Стая . . . . .			1.50
Anno Domini . . . . .			1.50

Н. ГУМИЛЕВ

Колчан . . . . .	1.—
Огненный Столп . . . . .	1.—
Французские Народные Песни . . . . .	1.—
К синей звезде . . . . .	1.—

М. КУЗМИН

Сети . . . . .	2.—
Глиняные Голубки . . . . .	2.—
Параболы . . . . .	1.50

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Tristia . . . . .	1.—
-------------------	-----

АННА РАДЛОВА

Богородицын Корабль, пьеса . . . . .	1.—
--------------------------------------	-----

## ПРОЗА

М. КУЗМИН

Плавающие Путешествующие, роман . . . . .	2.50
Крылья, повесть . . . . .	1.50

Н. НИКИТИН

Ночной пожар, рассказы . . . . .	1.50
Полет, повесть . . . . .	

«ЗАВТРА»

Литературно-критический сборник при участии А. Ахматовой, М. Куз- мина, М. Дзизинского, Н. Никити- на и др. . . . .	1.—
--	-----

# ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“

Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 37

---

## КАРЛО ГОЦЦИ

Бесполезные Воспоминания. Перевод с итальянского Д. Я. Блох при участии М. А. Кузмина и М. Л. Лозинского, 2 тома (в печати) . .

---

## ТЕАТР

### В. Н. ВСЕВОЛОДСКИЙ-ГЕРНГРОС

И. А. Дмитриевской, Берлин 1923 . . 3.—

### Ю. ПАТУЙЕ

Мольер в России . . . . . 1.50

### ТИРСО ДЕ МОЛИНА

«Дон Хиль Зеленые Штаны». Пер. В. Пяста. Редакция В. А. Кржевского и М. Л. Лозинского. Берлин 1923 . . . . . 3.—

### НИККОЛО МАККИАВЕЛИ

«Мандрагора». Перевод В. Н. Раккина. Стихи в пер. Р. Н. Блох. Рисунки Льва Зака (в печати) . .

### ОСКАР УАЙЛЬД

«Вера». Пер. С. И. Гринберга (в печати) . . . . .

---

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

### ЮРИЙ АННЕНКОВ

Портреты. Текст Евг. Замятина, М. Кузмина и М. Бабенчикова . . . . . 31.50

# ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОПОЛИС“

Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 37

---

## НАТАН АЛЬТМАН

Еврейская Графика. Текст Мак-  
са Осборна (на русск. и не-  
мецк. яз.) 250 нумерован. экз. . . . 25.—  
Монография. Текст Б. Арватова  
и К. Эйнштейна (в печати) . . . .

## БОРИС ГРИГОРЬЕВ

Bouï-Bouï. Текст С. К. Маков-  
ского и М. Осоргина. 300 ну-  
мерован. экзempl. . . . . 25.—

## ЕВГ. ЗАМЯТИН

О том, как исцелен был инок  
Еразм. Рисунки Б. М. Кустодиева . . . 3.—

## КОЛЬРИДЖ

Кристабель. Пер. Георгия Иванова.  
Рисунки Д. И. Митрохина . . . . 3.—

## Б. АРОНСОН

Марк Шагал. Монография . . . . 2.50  
Современная Еврейская Графика  
(в печати) 450 нумерован. экз. . . .

## Г р а ф и к а М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Текст С. К. Маковского и Ф. Ф. Нот-  
гафта. 450 нумерован. экз. (в пе-  
чати) . . . . .

**Цены указаны в зол. марках.**